

АЛЕКСАНДР ЗАВЬЯЛОВ

ЛЕСНЫЕ СУРОВЕЖНИКИ



12+

Александр Завьялов
Лесные суровежники

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Завьялов А. Н.

Лесные суровежники / А. Н. Завьялов — «ЛитРес: Самиздат»,
2019

На гиблом болоте поселился добрый молодой леший Мираш Малешот. И нестерпимо захотелось ему людям помогать. Узнал он, что из-за происков кромешников Таля со своим суженым Ильёй встретиться не может, — ну и поспешил в город. А там уже есть кому людям помогать... Сами кромешники вовсю стараются. Коверкают и путают судьбы людей, родственным душам встретиться не дают. Так и стараются кровь из носа, чтобы любовь несчастная была. Вот и Тале с Ильёй пришлось пройти через тяжёлые испытания.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Зарубка 1 | 5 |
| Зарубка 2 | 17 |
| Зарубка 3 | 24 |
| Зарубка 4 | 40 |
| Зарубка 5 | 48 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 55 |

Зарубка 1

Новоселье хуже пожара

В Суленгинских лесах семь веков хозяина не было. Никто не приглядывал, не берёт. Чудно, конечно, край хоть и небольшой, а всё же редко бывает, чтобы лес без хозяина-лесовина или хозяйки оставался.

Раньше здешними землями бабушка Териша управляла, с любовью и добрым разумением за всем смотрела. Лучше её хозяйки и впрямь по всей Сибири не было. Многие лесовины к ней за советом подбегали, и даже старожитные захаживали доброго слова спросить. С искону она Суленгой владела, а когда людские поселения появляться стали, забрали её в другие края, в дальние вовсе земли.

На её место полуницу Косу поставили. Только она вздорная и вредная оказалась – прихотничала своим крючковатым умом, на всё вкривь и вкось смотрела. К лесу и зверушкам худо относилась, а людей и вовсе невзлюбила. Сурочить на них взялась и каверзить, а уж до того, чтобы оберегать и из беды вызволять, и речи не было. И то верно, кто Косу помнит, так и сказывают: ягишная была старуха. Такая карга, что и в страшном сне не привидится.

А людям в лесу, известно, всегда помощь нужна. То без понятия по болоту правят, а то, тайгу не знавши, в самую глухоту забираются. Так и до беды недалеко. Ну а для лесовина хуже нет, если в его лесу человек сгинет. Сразу в верховья тянут ответ держать. Там долго не разбираются – и за малую провинность с места выкарчёвывают. Вот и радеет каждый лесовин по службе, а уж если человек в лес пожаловал, так за ним во все глаза смотрит и от опаски малой оградить старается. Да и помощникам наказывает, чтобы догляд вели.

Лесовину людям являться не дозволено, с искону запрет, а как беду отворотить? Тут хошь не хошь, а пугать надо. Самое верное средство. Хотя и по крайности, конечно, спугом отваживают, потому как после всякая неразбериха и чудное случается. Сразу же по людским селениям лихие истории про тусторонние силы шевыряются. Дескать, нечисть всякая по лесам таится и на всё живое страхи наводит. А про болота и вовсе сказывают, будто это «самая иховая стихия». Мол, если в трясину не утянут, то уж такой ужаси нагонят, что и умом пошатиться можно.

Любого лесовина спроси – расскажут про себя напраслину! Такие, слышь-ка, обидные побасёнки да несуразица дичайшая, что и диву даёшься.

Коса, правда, и впрямь злыдарила, однако она недолго лесовала. Скоренько её убрали из леса. После никого и не ставили. То ли сторожея доброго не смогли найти, а может, и решили так-то – кто знает?

А лес без лесовина, что дитя сиротливое без родительского глаза. Всякое прилучиться может. Никто от разора не оградит и от напастей не убережёт. Это сейчас опустел лес и не очень-то глаз радует, а раньше было, на что поглядеть.

Тут, по Суленге, леса богатимые были. И зверя и птицы многонько водилось. Гуси и утки великими поселениями гнездовали. Соболь и куница почти на каждом дереве сидели, а от белки и бурундука и вовсе в глазах рябило – пушные хвосты по веткам мелькают, с дерева на дерево перемахивают. А травоведов сколь было, о! Случись на полянку или опушку выйти, тут тебе и встреча: маралы лопухие траву смотрят. Дальше пройдёшь – косули-малорожки толкошатся. Волки тут же рядышком из-за деревьев выглядывают, любуются да облизываются, и друг перед дружкой хвалятся: ох и оленистые у нас места! ох и оленистые!

Медведь, бывало, на дерево залезет, сгонит какого-нибудь соболя и окресы озирает. В одну сторону глянет, в другую поворотится, и решить не может, куда ему править. Разберись поди: всего невпроед! Там косули и кабаны, вон горбушка сохатого из-за калины топорщится. Кабарожки туда-сюда бегают, вокруг дерева шмыгают, глянут наверх и мекнут, словно драз-

нятся, и тут же в чашу сигают. Так и не определится топтыгин, махнёт лапой да и косолапит малину иль чернику трескать.

Раньше Суленга бобрами и выдрами хвалилась, а потом до того дошло, что по всему руслу ни одной хатки не сыщешь. А выдру разве что в самых верховьях встретить можно. И рыбы куда меньше стало! В прошлые времена на воду глянешь, а она так и бурлуканит, так и бурлуканит, точно котёл кипящий. И крупная рыба здесь, и мелкая, и всякого окрасу-разукрасу несметными стаями кишмя кишит.

Люди, известно, подсобили – вытряхнули лесные уголья. Вроде не бедствуют, не голодают, а к лесу с ружьём подступают и реки сетями путают. А от ружья никакой животинке не спастись. Разве только лесовин может пулю отвести своей силой. Да мару навести – оморочить охотника.

Да и без людей есть, кому разорять. Ничейная земля, она чужому глазу покою не даёт. Лесовины с других краёв недоглядят у себя там – зверя и птицы вовсе мало станет, – вот они и смотрят, где взять. Ну и уводят по тайности. Где табунок оленей уманят или тетеревей да глухарей на крыло подымут. Насулят всякой всячины, про сытую жизнь расскажут, а то и нагрозят для острастки – и вот уже целые стаи потянулись из Суленгинских лесов.

Вот хоть Аноху Зелёнку возьми, уж до чего дошлый лесовин! Такая плутня – всё бы ему нашармака поживиться. Суленгинские леса чуть ли не своими считает. Летом увел тишком лосей многоноcko пар, маралов да животинки всякой малой, а как соседнего лесовина встретит, вздыхает и жалуется:

– Беда с этими человеками. Лес пустошат и пустошат. Этим ненажорам – только подавай! Остатнее выберут – как хозяйить будем?

Такие дела. Ну и вот, тут верховные лесные окольныек спопахнулись: не узнать Суленгу, от былого изобилия ничегошеньки не осталось. А так водится, что если в лесу деревенька с человеками поставлена, то в лесовины вершу наряжают. Так лесовины называются, у которых образование высокое. По их сути им многие природные законы открыты. И в людях толково разобраться могут...

Ну, а что там в верховьях думали – неведомо, да только решили на Суленгу Мираща Малешота поставить. Молодой он совсем, однако не в том дело...

Долго его, знаешь, не могли никуда назначить. Сызмальства за ним слава укрепилась, якобы неумный он, – куда такого определишь? Хотя уже и в года вошёл...

Очень уж Миращ серьёзный. Глянешь на него – на вид строгий и задумчивый, и улыбку на лице не застанешь. Напустит на себя суровости, и будто мудродей он. А лицо нескладное, потешное. Нос большой и острый, прямёхонький так-то, без горбинки и курносости. Глаза зелёные, яркого такого налива, словно травка молоденькая, и посажены рядом, близко совсем возле самого носа. Редко в них какая шельмешка объявится или искорка загорится. Грустные глаза. Волос у Мираща хоть и не короткий, а дыбится, точно колючая стерна на голове. Со всех сторон на него глянешь – вылитый седой ёж. Да ещё он сплошь конопатый, даже на ушах веснушки намётаны. К тому же золотобровыш и уши торчат в разные стороны. Роста Миращ обычного и в теле худой.

Наказали Малешоту, чтобы дом на самой топи поставил, куда человечья нога сроду не ступала и зверь не хаживал. Для тайности так-то рассудили. Хотя от человека таиться – забота лишняя. Так бы домишко и посреди деревни поставил, на самом видном месте возвёл, и даже дворец в несколько этажей, – а человеку поглянулось бы, будто ровное место и трава не умятая. Люди, вишь, по природе своей жмуркие – многого видеть не дано, а вот среди зверей и птиц есть глазастые. Натопчут ещё возле жилища лесовина, и никакой тайности не станет. Через это и людей на раздумье наведут, невесть про какую аномалию думать будут.

То-то и оно, на болоте верней всего. Тем более для лесовина никакая трясина не помеха. Суть их, знаешь же, неплотная, невесомая вовсе – хоть по воде, хоть по воздуху ступай, и будто земной тяги нисколько нет.

А болото на Суленге знатное – чистая чаруса, и на большие версты раскинулось. В долину на двадцать вёрст с гаком и в поперечине почти на девять.

С домом Мираш в один день управился. Так, ничем не примечательный домишко, какой обычно лесовины себе ставят. Гостиная с камином, спальни три, кабинетная комната да складских и архивных помещений несколько.

Мираш впервые себе дом ставил, ну и залюбовался невольно – ладно и на загляденье среди белых кувшинок домишко красуется.

Так-то загляделся и не заметил, как Супрядиха Уховёртка объявилась.

Ох и развесёлая старушонка! Шибутная да бойкая, как девчонка молоденькая. А уж возьмётся истории складывать, так и не переслушаешь её. На язык остра – кого хошь высмеет. Уховёрткой её не зря прозвали, очень уж у неё потребность жгучая всё про всех знать. А по назначению – надключница она. В горах сидит, за ключами и родниками смотрит. Следит, стало быть, чтобы у Суленги истоки не переводились.

– А я слышу, чай, новый сосед избушку ладит, – ласково подступилась она, как обычно на весёлый лад наструниваясь.

Дрогнул Мираш, сразу серьёзный стал, насупился ещё лише и обернулся, будто нехотя.

– Никак верша? – догадалась Супрядиха и тут же понесла, не давая и слова молвить: – Вот и ладноть, вот и ладноть, а то никакого сладу с человеками не стало. Лес криком кричит. Речки замутовали, вся грязнота в землю уходит. Я уж умаялась родники огораживать да чистить. Каждый день без продыху... а чего это у тебя крыша красная?

Мираш было рот раскрыл, а Уховёртка вновь припустилась:

– Оно так и веселенько, хорошо... А в селениях у них чего деется!.. Друг дружку поедом едят, всяко изгильничают. Никакого ни мира, ни согласия промеж них нету. Нам-то с имя не совладать, да и не дозволяется... Куды там! Ты уж разберись да наведи порядку-от. А то глянешь на этот страх, да, слушаючи, чего другие сказывают, – вот и то... слёзы сами собой на глаза наплывают.

Супрядиха и впрямь прослезилась.

– Вы что, бабушка, – гукнул Мираш, – не надо плакать. Я наведу порядок.

– Да уж вижу, вижу... – старушка вытерла лицо краешком платка и виновато скрестила руки на переднике. – Ты уж меня извиняй: падкая я на слезу. А новым соседям завсегда рада... можа, от этого и всплакнулось. Чай, молодой ты, боюсь, не справишься...

Мираш вспыхнул, волосы будто вовсе дыбиться стали. Однако совладал с собой, усталость на себя напустил и отвечает снисходительно:

– Вы, бабушка, не знаете, а говорите. Мне всегда самые сложные задания доверяют.

– Ну да, ну да... – поспешно кивнула головой Супрядиха. – Быват, верша – старожитный, а знаньев – на просяное зёрнышко. – Вздохнула устало и сказала вовсе грустно: – Так я пойду... Мне ишо оббечь всех надоть. Упрежу, чтоб завтрама собирались...

– Куда это? – не понял Мираш.

– Ну, как эта... – Супрядиха покосилась в сторону, пряча шельмешки в глазах. – Новосёла будем привечать, знакомиться...

Сказала так и чезнула, будто и не было её. А Мираш в растерянности остался. То вроде как намечал в деревню сходить и людей смотреть, а тут на самого глядеть заявятся.

Такой уж обычай. Хотя празднества у лесовинов чуть ли не каждый день случаются. И с поводом, и просто так повечерие друг у дружки справляют.

* * *

Столь лесовинов к Мирашу на новоселье пожаловало – про всех и не расскажешь. Со всяких разных краёв и лесов. Даже Северьян Стамушник прилетел, с дальних тундряных мест явился. И старожил Дорофей пришёл. Не часто он, знаешь, пиршества привечает, а тут – чего уж там ему Супрядиха наговорила – решил уважить молодого вершу. На любом застолье самый он уважаемый гость, потому как с антиковых времён лесоводит. С тех пор, когда и человека в помине не было, и кромешников¹ тоже, а только одни лесовины по лесам сидели.

Многие лесовины на своих крыльях прилетели, а кто издалече, те на неболётах и на вильховках прибыли. На птицах тоже – кто на орлах да на соколах, но больше на малых птахах припорхали. И воробьи тут, и синицы, и славки, соловьи даже есть – на что уж не под седло птица... И, конечно, стрижи – самые они любимые у лесовинов, потому как и быстрые, и могут любое расстояние одолеть. Про стрижей все знают: они и в полёте спать привычны, им любые расстояния по силам.

Ермолай Садовник на горихвостке прилетел. Горихвостка – птица нарядная, и голосишко у неё певкий. Сама маленькая совсем, веса в ней и пятнадцати грамм нет, а шустро лесовина носит. Летит она и хвостиком трепещет, будто лесовина скинуть хочет. А Ермолай сидит на рыженьком охвостии, ноги с перьев свесил и окресы озирает. На птицах лесовины всегда маленькие. Хоть веса в них никакого, а стать свою по седлу меряют. Это когда на землю спрыгивают, враз в полный рост становятся.

Каждый гость с подарками и гостинцем явился. Мираш только и успевает принимать да благодарить.

– Завтрема на первейное дело, – пошутила Супрядиха, – заширь дом пристроями, чтоб все подаренья уместить. Больно тесно у тебя стало...

Пека Жаровец чудо-печь в подарок поднёс. Уж такая стряпучая печка – всегда в ней чугунок с варевом-жаревом да хлеба пышные. Все рецепты, какие по миру ходят, ей известны, да ещё и новые блюда придумать может. Каждое кушанье – объедение, без пригару и перевару-недовару.

Лека Шилка холодильник дивную подарила. Соленья в ней разные, варенья – банок не счесть! Копчености тут же, колбас – тысячи сортов, все, какие у людей придуманы, рыба – какая хошь, деликатесы... Словом, всего вдоволь, и не перечислишь. Лека «список» приложила, шутейно Мирашу почитать наказала. А там три книги толстущие, каждая на восемьсот страниц, и все меленькими буквами исписаны.

Пека с Лекой поначалу не хотели такие дорогущие подарки нести, да болтливая Супрядиха упредила. Она, вишь, всех оббежала и растрещала сорокой, что лесовина нового насылают. «Непонятно чей ставничий, – испуганно говорила она. – Может, самых высоких властей». И лицо загадочное делала: дескать, я-то знаю, да не велели сказывать. Тут уж хошь не хошь, а чего получше и даровитей пришлось доставать.

Только Маха Огруха, кривопятая росомаха, с пустыми руками подошла. Да ещё в одежке простенькой (тело-то у неё человеческое, точнее, как у верш и у лесовинов – впрочем, на глаз разница невеликая, – а вот голова у неё своя, росомашья), без украшений и разукрасу, словно не на праздник пришла, а по делу заскочила.

Сама-то она всего-навсего у лесовина Своя в помощницах состоит, да только давно уже главенство себе прикогтила. Вся работу за лесовина исполняет и сама за всё про всё решает. И сейчас пришла по своей воле, захотелось ей на соседа глянуть, между равными властями зазнакомиться.

Мираш в честь торжества ликсиру, как водится, на стол выставил. Своих-то запасов у него ещё не завелось, однако Супрядиха выручила – принесла, сколь надобно. Да с запасом.

¹ Кромешники – нечистая сила.

Такой это чудодейный напиток, что выпьешь его – и враз одурь на голову садится. И ладно бы всякие глупости да потешки на язык лезли, а то ведь с ликсиром этим лесовины будто владать собой перестают. У людей тоже, знаешь, такое снадобье имеется. Такое да не такое малость. У них ещё всякий раз порон организму случается.

Супрядиха вроде хозяйки, слышь-ка, себя поставила. И стол сама накрыла, и по рюмкам разлила. Где кушаньям стоять, сама решила. Да уж Мираш и не противится, во всём её слушается и совета спрашивает. И то верно, впервой ему довелось лесовинов на празднике привечать – откуда их нравы знать? А уж Уховёртка стол на славу накрыла, такие, знаешь, кушанья – уму помраченье.

Расселись гости по столу, Дорофей на самое почётное место, во главе стола, уселся. Супрядиха всех по старшинству на своё место определила, чтобы обиды да рассорки не случилось.

У лесовинов так заведено, что хозяин торжества первый тост произносит, сам себя хвалит и всяких там благ себе желает. Вовсе это нескладно у Мираша получилось, насилу слова нужные нашёл. Говорил, говорил да и запутался совсем, смутился ну и притянул к себе бокалыш. Так-то без всякой радости и выпил, неумело всё одно, потешно придерживая левой рукой рюмочное доньшко.

– Наший он! – расцвела Супрядиха. – Теперь вижу: будет толк. Знатный лесовин получится, настоящий суровежник!

Тут и все чинно выпили. И пошёл, пошёл перебряк по столу.

Дорофей, как по старшинству водится, наставлялье принял.

– Ты не думай, вершик, что наше служение пустяшное, – сдаля начал он. – За лесом глаз да глаз нужен. Это раньше – вот раздолье было: леса, леса до самого неба. Мои земли куда шире были! А спокойней жилось. Я тебе так скажу: нынешние времена, можа, ещё труднее наших будут. Как человеки появились, так и пошла наука. Хватка у них особая, больно искусная. Не угадаешь, чего назавтра ждать.

– А что тут знать, – загудел Антип Летошник, – лесу от них один порон да бедство!

– Да уж, – промычал Кош Тухтырь (знатный лесовин, про него сказывают, что он ведаёт, где сокровища скучено лежат и клады всякие), – природа ихова известная: глотка шире брюха и никак их утробу насытую не удовлетворить.

– Оленей да лосей совсем не стало... – сокрушённо покачал головой Аноха Зелёнка (как узнал он, что в Суленгинские леса хозяин намечается, ну и угнал в свои владения маралов табунок да лошешек сколько-то пар...)

Пека Жаровец попытался заслонить всё-таки человек:

– Польза от них тоже ...

– Худо лесу, худо, – перебила его Супрядиха и затараторила: – Будто войной на нас идут. Верно Дорофей сказывает, скоро все живое сничтожат и леса вырубят. Ишь чего удумали: горы диамидом рвут. Цельны скалы порушают. И никак нам с имя не совладать. А энто всё законы такие. Не супротивничай, не обижай, не напужай, да ещё охраняй дневно, всякую опаску отгоняй. Я вот чего скажу: менять надо закон, менять!

– Уймись! – строго прикрикнул Дорофей. – Ишь, трещотка!

Потом раздумчиво посмотрел на Мираша и говорит:

– Как от человек лес оборонять, научим, само собой, не потаим. Только тебе надоть, чтоб у тебя во всём леску глаза и уши были.

Тут опять Супрядиха сунулась – а как её урезонишь, если у неё слова во рту набились, язык на свет толкают?

– Помощница тебе нужна, – хохотнула задорно и выпалила: – Меня бери, намах хозяйство наладим!

Мираш смутился.

– Мне обещали прислать, – спешно отмахнулся он. – Как только обсмотрюсь, в дела войду.

– Ну, дождайся, дождайся... – скривился Пека Жаровец и потянул с тарелки маринованный рыжик.

А Лека Шилка прыснула в ладошку и жалостно на Мираша посмотрела.

– Что же делать? – ещё лише смутился Мираш.

– Что делать, что делать... Дело обычное, – важно проворчал Дорофей. Он притянул неспешно к себе блюдо с жареным поросёном, щедро полил пряной обливой, распробовал кусочек и, наконец, опять наставлял стал: – За зверями и птицами смотри да примечай... В сaxonке токо, чтоб Сонька Прибириха не углядела. Если за какой живикой Сонька не придет, ту живику себе и забирай. Не сумлевайся.

И то верно, все лесовины себе эдак помощников выглядывают. Дело это, правда, не ахти какое верное, потому как выходит, что не по своему разумению или прихоти лесовин себе сподручника выбирает, а как случится и повезёт. Бывало, такие помощники попадались, что лесовины потом с горести теряются бесследно. Вон Свея давно уже никто не видел, даром что кривопятая Маха говорит, что хворый он... Неспроста всё случается, неспроста, своя тут глубота непостижимая. Известно, всё по тайности высшей решается. Такого уж не было, чтобы доброму лесовину худые помощники попадались. Хотя... путаница тоже случается.

А происходит это вот как. Заедят волки оленя, и освобождается оленья живика. Или сам волк на человечью пулю наскочит, и его живика выходит. Словом, всякая живика, которая земную жизнь завершила, лесовину в помощники годится. Скудельное тело, оно, вишь, громоздкое, толку в нём никакого, а живикой куда возможностей больше! Любая живика может способностями владеть, что и лесовины и верши.

Ну а по окончании каждой жизни Сонька Прибириха приходит. Так уж водится: попутчица она и утешительница. У неё назначение такое и обязанность: поддержать и успокоить живику, пока та осматривается, ну и проводница она, само собой. Без неё никак.

А тут вдруг нет её...

Ждёт живика Соньку, ждёт, а она не является и не является. Это и значит, что живике лесовать назначено. Тут уж надо лесовину поспешать, а то всякое может случиться: и сама живика заплутает, и кромешники задурить могут.

...– Только смотри, не вздумай выбирать, – наставлял Дорофей. Напустил на себя пьяничной важности, сурово на Мираша глянул. – Какая живика первая попадётся, ту и бери. А то кромешники долго не спрашивают, отчего не по нраву пришлось.

Кивнул Мираш головой, а сам думает: надо бы у верховных справиться, может, и обман какой. Всучить мне хотят абы кого, а там мне, как подобает, готовят...

– Ты, хозяйчик, нас слухай, – просунулся Дубовик (такие у него усы длинные, что хоть за уши заворачивай). – Мы тебе зряшное гутарить не будем. То, шо ты хлебосольно нас пригласяешь, дуже нас встраивает. И то нас встраивает, шо вершеством своим не кичишься.

Огладил Дорофей богатимую бороду и говорит:

– Ещё хочу совет тебе дать. Ты покуда не практикованный, к человекам не суйся. Судьбы ихнии не нашего ума дело. Наше – за лесом смотреть да зверюшек растить. С человеками свяжешься – век не развяжешься. Там, в верховьях, шибко не разбирают. Чуть что – зараз со свободой попрощаешься.

– И не говори, Дорофеюшка, – поддакнула Супрядиха, – хуже страха нет, как в человечью судьбу мешаться. А на нерозначников наскочишь...

– Про нерозначников и не поминай! – посуровел опять Дорофей и глянул на ключницу волчьим глазом. Да и спохватился тут же: – А что энто у нас певун молчит, отчего не радуется? А ну выходи! Спой из старого что-нито, – и сам по сторонам зыркает, лесовинам знаки подаёт, чтобы таимничали, значит, не сболтнули лишнего.

Мираш приметил такую заминку, а виду не подал. Потом, думает, всё равно вызнаю. Стал вместе со всеми певуна слушать.

На серёдку Прохор Литавра вышел. Подбоченился эдак важно и затянул густым басом.

Голос у него и впрямь здорово певкий. Какую хошь песню на все лады может исполнить. Таким густым басом одарён, что если начёт по самому низу брать, то стёкла в окошке трепыхаются. И тут же может так высоко потянуть, как и малому дитяти недоступно.

Все притихли, на чудный голос дивуются, а ещё лише от слов жалистных вздыхают. Исполнил Прохор романс старинный «Я кроме Вас любил ещё другую», потом – «Безумен час», и далее всё такое потянул – душевное, лиричное и трагичное.

Лека Шилка потащила платок к глазам, и у Махи Огрухи слёзы по шёрстке закапали. А Супрядиха как развесёлая была, так с улыбкой и слушала, разве умилилась чуть.

– Век бы слухала! – приговаривала она и ёрзала на стулке, оглядываясь по сторонам. – Великий талант! Великий!

А когда Прохор затянул – «Я знал, всё это мимолётно», Дорофей вновь осерчал.

– Экий ты берендей, тоску нагнал, – гаркнул он. – Давай развесёлое что-нито!

Эх, и началось же веселье! А к Мирашу Антип Летошник подвинулся. Тоже он старожитный лесовин, хотя Дорофею сотню-другую лет уступает, и бородёжка у него не такая богатая, и не клином, а лопатой так-то.

Сказывают, что в его краю самые породистые лоси да олени живут, и косули да кабарожки самые шустрей и ходкие. А людей он вовсе не жалуёт. И давненько уже, знаешь, эта победа ему на сердце легла. Говорят, лебушей людям простить не может и ещё много всего.

Мало кто из лесовинов теперь помнит, как лебуши выглядели, а птицы и впрямь красивые, на лебедей похожи. Пером тоже белые, только маховые перья красным оканчиваются, словно алая окантовка. И в охвостии красная полоска посерединке. На голове у лебушей хохолок, как у крохалей, а на шее словно золотой ожерелок.

Раньше лебуши по всей Суленге гнездовали, и даже до тундровых болот Северьяна Стамушника селились, а сейчас их вообще нигде нет.

...Стал Антип про людей худое припоминать, наболевшее Мирашу рассказывать.

– Поначалу-то я не больно озаботился, – говорил он. – Ну, живут – и живите себе. Мне и с лесом хлопот хватает. А потом гляжу: потянули человеки из лесу зайчишек, да тетеревей с глухарями, да рябков с куролями, да утей с гусями. Вовсе это мне не по нраву пришлось. Стерпел всё ж таки. Ладно, думаю, навреде волков пушай будут. Одначе своих волков пришлось подсократить. Для балансу-то... Да только эти ещё хуже волков. Не оченно-то они разбирают – где больной зверь, а который – краса для лесу. И всё молодняк нороят подбить: у тех-де мясо скущее.

Приглядел я, помню, лосишку на развод. Красавец. Статен. В теле хоть и не сильно грузен, а силён не в меру. Я таких за всё служение раза три и упомяну, и то те куда более тучнее были. А вынослив! Уж я спытал его, со всякой стороны посмотрел. Волков на него напустил. Погоняют, думаю, а я гляну, чего стоит.

Слушает Мираш, не перебивает, кивнёт головой, уважит старого лесовина, а сам всё больше по сторонам зыркает – за гостями примечает.

– Так с волками этими ишо и заминка случилась, – рассказывал Антип, уперев бороду в посошок. – Нипошто не хотели малой силой брать. Знаем-де его, скулят, прошлой зимой одному нашему пузо копытом пропорол, а другого на рога поднял да так в сугроб и ушвырнул. Ну, пришлось мне две стаи сбивать. Наказал им, значит, чтоб старались, дожали, так сказать, до слезы. Они мою задумку, как надоть, исполнили. Отпустят лосишку подальше, тот и думает: отступились, дескать. Только на лёжку устроится али ветушку ущипнёт, глядь, а волки уже с другого боку заходят, в окружие берут. Скалятся да облизываются. Зазря, конечно, мечтают. Лосишко вырвется и опять волохает серых по всему лесу, ровно и устали не знает. Волки ужо у

меня пощады попросили. Не совладаем, хрипят, с ним, из последних сил выбиваемся. Одним словом, хотелось бы лося, да не удалось. Ну, я менял, само собой, свежие силы на сохатого напускал. Одначе он всё сдюжил.

Потом стал думать, какую невесту ему выбрать. Гляжу, а он уже ланушку себе приглядел. Милуются друг с дружкой, рядышком ходят. Мне она тоже понравилась, не покривлю, а по кровям ихним посмотрел – не на мой глаз выходило: наследие хоть и хорошее получалось, однако не по моей задумке. Пришлось ланушку волкам отдать. А к нему другую подвёл, – тут, видать, Антип что-то радостное вспомнил, засиял и не без торжества продолжал: – До чего дивный приплод получился! До сих пор длинноногий лосёнок перед глазами стоит. Хвалиться не буду, а кого ни позову – все заглядываются. На развод просят, умоляют... Я, конечно, вежливо уклоняюсь. Говорю: мол, пущай в полный возраст войдёт: может, какая промашка есть? А сам-то знаю, что никакой ошибки нет: всё, как надоть, сделал. Сам ужо подумываю – не потаю: лестно мне, конечно, чтоб по моему имени во всех лесах лоси водились. Замечтал, не покривлю, – тут Антип помрачнел, раздумчиво к полнёхонькому бокалышу потянулся.

Супрядиха увидела, что Антип понурился, сама ему рюмку подвинула.

– Чай, не горесть каку поминаем – лесовин новый родился! Ты, Антипушка, кручину заплесни, негоже с постным лицом сидеть.

Зорко она, слышь-ка, следить взялась, чтобы веселье по гладкой дорожке катилось.

А куда уж глаже пошло?! Певуна утолкли в сторону – и вовсе развесёлые и вздорные песни пошли. Танцы-званцы, пляски-бальяски – на всякий вкус. Пека с Лекой сами голос пробуют, дуэтом потянули. Да только их и не слышно: другие лесовины тоже со своими песнями просунуться норовят. Поначалу-то все взялись чинно танцевать – туда-сюда ноги выкидывают, руками подсобляют, – а тут от плясок дом ходуном пошёл. Уж на что Северьян суглобый и то в пляс пустился.

Супрядиха знай его подначивает:

– Гли-кось, парень лихой! Самай отчаянный! Прямым так и ломит, так и ломит, ально медведь-шатун.

Мирашу не глянулось такое разгулье, не захотел в кипящий котёл лезть, но вида не подал. До этого вполуха Антипа слушал, а тут сам к нему потянулся и спрашивает:

– Дальше-то что было? Украли, что ли, лосёнка?

– Как же, украдут! – проворчал Антип. – Как же его было украсть, коли у меня все волки и медведя, и всякие мясоеды извещены были?! Уж так я им нагрозил, что они и близко не подступались. Да друг за другом следили, обо всём меня упреждали. А лесовин какой посмеет? Известно, человеки погубили. Всю семью сничтожили, изверги! – вспылил, ажно тростью хватанул о край стола, да ещё хотел добавить словцо – покрепче, а тут вдруг посмяк сразу и говорит: – Моя промашка... От волков отгородил – вон они страх и потеряли. Всего бояться перестали.

Антип помолчал немного, потом и говорит:

– Сколько опосля ни старался, а на ту стать боле не получилось. Другой лось пошёл, даром что раместее.

Аноха Зелёнка краем уха слышал, что Антип сказывал, да и говорит:

– Слышал я твою байку. Только никакой лось против моих волков не постоит. Любого ставь. Я против него всего одного пущу – намах разделается.

Аноха, знаешь, всегда за волков радеет. По его мыслям, другой зверь только на потребу волкам нужен. Одно время мечтал тучных маралов развести, а силы чтобы в них и вовсе не было. О волках, известно, заботился, дабы им сытнее жилось.

На всё у него одна присказка: «Хоть и хищный зверь, а кусать всякому охота; брюхо, оно совета не спрашивает».

Ничего у него, конечно, не получилось: быстро в надзоре прознали. Ну и попал под расплатицу. Еле в лесовинах удержался. Смилились отчего-то в верховьях, но напредки пригрозили, чтобы строго природный закон следил. Втолковали, как водится, что улучшать только природность можно. Погоревал Аноха, само собой, а волкам сказал: «Тут нас не поняли. Возьмём другой курс».

Так он всё внимание волкам и отдал. После того много времени прошло, а про его разбойников чудное сказывать стали. Такая молва пошла, что только отмахивайся. И плавают они, и ныряют, а под водой шуруют не хуже любой выдры. И по деревьям лазают, а потом с самой макушки вниз прыгают. Без всякого порона для здоровья. А уж могутные – и медведя рядом не поставишь.

Брэх, конечно. А может, и правда чего...

Редкое празднество проходит, где бы Аноха своими волками не похвалялся. Вот и сейчас Антипа зацепил. Старые они противники – как схватятся языками, так и не разнять никакой силой.

Времени немного прошло, а гулянка уже в полную силу вошла. Мираш на гостей смотрит, а у них будто всякое разумение из головы выдернули. По столу грай несносный стоит, ни слова не разобрать. Которые лесовины и в рассорку вошли. Кричат друг на друга, грозятся. Дорофей спит, положив бороду под ухо. Стол под ним от топанины подпрыгивает, а ему хоть бы что – похрапывает знай себе.

Супрядиха Северьяна уже не нахваливает, а другим боком к нему повернулась.

– Тю! Ишь, бобик непривязанный разошёлся! – смехотничала она. – Дивуйтесь на него, девоньки. Из какой же распродальной дыры тебя занесло, милай?!

А тот уже ни мур-мур – слова сказать не может. Отогрели, небось, растопили...

– Эй! Лихоманы таёжные! – гремел Ваня Тишина. – Любого перепью! Чичас моё время! Понимать надо! Живёте тут среди деревянной-травяной дури и жизни не знаете.

Тоже он, знаешь, как и Мираш, верша. Только его в давние годы с верхов спихнули. А стать осталась – среди лесовинов всегда высоко себя носит, ну и редкость, когда из него доброе слово выбежит. Поначалу он отпихивал стопку, а сейчас уже зубами вцепился в граненое стекло, и будто все крепи слетели.

– Молодец, Ваня! – дивовалась Супрядиха, – Покуда пьётся, потуда пей. – И вовсе большой бокал к нему подвинула.

Ивану не с руки себя уронить. Огладил он в руке бокалыш – ладно тот пиявкой к ладони прильнул – да и чендарахнул до дна. Да прямо под стол и грянулся.

Лека Шилка – ох и воструха девка! – над Ириньей Ильницей, хозяйкой речки Суленги, подшучивать взялась:

– Сказывают, видели тебя в городе, людям рыбу продавала...

Та отмахивается – спокойного, знаешь, нрава.

Лека не отступается.

– Денех-то много выморщила?

Иринья шутейно отвечает:

– Денег – страсть, да не во что класть.

Лека, словно без всякого интереса, и говорит:

– В этом городе обдичаешь ишо, угоришь от чада и шума...

Иринья вприжмур на Леку глянула, точно тайну тронула, да и спрашивает:

– В город, что ли, переезжать собралась?..

Та враз и отступилась, в пляс по кругу пошла.

– Ой, девоньки, спина кружится. Хорошо-то как! – и пошла, пошла вытанцовывать.

Есть, знаешь, у Леки тайна малая, но о ней после расскажу.

Словом, удалось новоселье... Только лесовин Кит и его помощница Лема-волчица невесёлые сидят. Притихли в сторонке, молчат и пугливо по сторонам озираются. Лема смотрит, смотрит да и не удержится – ткнётся волчьей мордахой Киту в ухо и скажет: «Дикость какая!». А то ещё уговаривает, чуть не плача: « Не могу я больше, пойдём, а?».

Впервой они на такое пиршество попали. Не привычно, само собой. К тому же Кит – не простой лесовин, с кромешников бывший, а такие всегда чужаками слывут.

...– Укрыкалась я седни! – опустилась Лека лёгонькой пушинкой на стулку рядом с Мирашём. Повернулась к нему, посмотрела озоровато и говорит бархатным голоском: – Глаза у тебя чудные, я таких зелёных сроду не видела. Век бы смотрела!

Мираш ликсир больше не пил, а всё по сторонам смотрел и опытности набирался. А поговорить уже давно не с кем стало.

– Весело тут у меня... – насмешливо произнёс он.

– А у нас всегда весело, – засмеялась Лека. – Жизнь у нас такая, разнесчастная... – поникла чуть, словно горестное что припомнила, и опять просияла: – От тебя все к Северьяну в его ледяную сторонушку летим. Звал...

Стали о всякой всячине разговаривать. Тут-то потихонечку Мираш к своему интересу и подвёл. Равнодушный вид на себя напустил и спрашивает: кто такие, мол, нерозначники?

Лека смутилась чуть, но тотчас же опять улыбнулась.

– Нерозначники? – переспросила она, замялась чуть и говорит: – Это когда у утки и селезня перо одинаковое.

– А что, разное бывает? – не понял Мираш.

Посмотрела Лека как на дитё малое и говорит:

– А то нет! Вон утки, считай, все почти разновидности такие. Селезень разукрашенный да расфуфыренный, а уточка скромного окраса. Так же с глухарями. Мошник – чёрмный, с приметным пером, брови красные, а копалуха – серенькая. У курочек такая же история. Ну, это всё простые... А вот лебеди – те нерозначники. Ты по перу лебёдушку от лебеда ништо не отличишь. Да и верные они, нерозначники эти. Друг без дружки не заживутся, а петуху от двенадцати до семнадцати куриц надо.

– А люди тут причём? – запутался верша.

– Ну-у... – с великого ума потянула Лека, глянула по сторонам с опаской, придвинулась к Мирашу поближе и говорит шёпотом: – Среди них тоже нерозначники бывают. Родные души, влюблённые... Все, вишь, по разукрасу друг дружку находят, а эти по тайне какой-то.

– По какой тайне?

Лека помолчала чуть и говорит:

– Кто ж её знает?! Запечатанная тайна и есть. Непроницаемая такая... Странная у нерозначников судьба...

Мираш хотел ещё что-то спросить, но тут вдруг с другой стороны Маха-росомаха присела. Придвинулась, слышь-ка, и уши потянула. Лукнула на Леку сердитый взгляд и запела заботливо: не скучаете ли, то да сё и теверы-северы.

– Да уж тебя ждем, не дождёмся, – огрызнулась Лека и опять напустила на себя беспечный вид. Вспорхнула легко и кинулась в бурлящую толкотню.

– Ой, девоньки, налейте мне ещё! Нам весной ракушку не клевать!

– Есив чё, я могу помогать, – лилейно замурлыкала Маха. – Не сразу, наверно, помощницу найдёшь.

Глянул на неё Мираш – чем не помощница?

Все знают, какие они, росомахи. Тело бочоночное и несуразное будто. Лапы широкие и мощные, по телу вовсе короткие. Иной раз, если со стороны смотреть, кажется, что росомаха брюхо по земле волохает. И походка у неё неуклюжая, криволапит всё одно, косолапит.

Теперь-то Маха совсем другая. Тело у неё человеческого и женского сложения, само собой. Сама высоконькая и тончаявая. Ноги, как у цапли, а в талии – оса.

Посмотрел Мираш на неё раздумчиво и отказался вежливо.

– Мне, – говорит, – не к спеху. У тебя самой, наверно, забот невпроворот...

Тут у Антипа с Анохой рассорка серьёзная случилась. Не сдержался старьёй лесовин, на волчатника с кулаками полез.

– Да ты ишо хуже человека! – кричит. – Да я тебя!..

Мираш сейчас же разнимать кинулся. Встал промеж супротивников, глядит, а никто кроме него и не шеметнулся, точно обычное это дело – драчишка между лесовинами. Растерялся Мираш, а тут ещё лише диковинку увидел: Кош Тухтырь кулаками своими огромными Супрядиху охаживает, а та словно и не чуёт, насмехается только. Потом изловчилась и сама своим невеликим кулачишкой приложилась, прямёхонько по переносью Тухтырю угодила. Сдаля удар, может, и не сильный показался, а полетел лесовин через всю залу и стол пополам переломил.

И пошла потеха! Лесовины друг на друга кинулись. Кто стулки похватал... всякая мебелька в ход пошла – щепки в разные стороны полетели. Кит с волчицей Лемой к дверям кинулись – только их и видели. Мираш оцепенел поначалу и тоже к выходу попятился.

Решил, знаешь, воздуху лесного глотнуть да и обдумать, что далее делать... Сколько-то по лесу ходил, а ничего путного на ум не прилучилось. А вернулся – все лесовины уже вповалку лежат и не дрыгнутся.

А утром – снова долотом. Вдовесок ещё новые лесовины подошли... и из города верши прибыли...

Пятидневку, слышь-ка, гуляли...

На шестой день Мираш обессилил вовсе, с лица спал. Что и говорить, каждый лесовин за долг и обязанность считает молодого вершу поучить. Одно и то же в несколько кругов наслушался. Упятился он за дверь тихохонько, сел понурый на крыльцо... и с великой грусти на него шаль нашла. Дай, думает, тоже потешусь. И что ему такая наумка в голову явилась, сам потом растолковать не сумел. Вот так сделает что-нито, а потом – пойди разберись! Словом, надумал сжечь свой новый домишко. Вместе с лесовинами.

Зла-то тут, конечно, никакого нет, потому как лесовины в огне не горят и порону им от этого никакого. А дом и наново отстроить можно. Не забота.

Запалил Мираш факел смоляной... и вдруг факел этот в лису-огнёвку оборотился. Вырвалась лиса из рук верши и вокруг дома побежала. Где пройдёт и хвостом пушным помашет, там и пламя подымается. Мираш и глазом моргнуть не успел, а огонь уже всю избу объял, и по крыше пополз, щёлкая черепицей, как орехами.

Так дотла домишко и сгорел. Прошёлся Мираш вокруг пепелища – ладно всё получилось, на загляденье. Только угольки чёрные в дыму лежат да потрескивают. А от лесовинов ничегошеньки и не осталось... И памяти никакой. Ни косточек, ни вещей каких, негорючих. В небеса лишь чёрная тучка поднялась и зависла над болотом в верхотурине. Аккурат над тем местом, где пожар случился. Другие облака и тучки ветром в сторонку относит, а эта недвижно установилось. Крепко, слышь-ка, держится, точно никаким ураганом её не сшибёшь. Странная вовсе тучка, на других и не похожая. Бурлит, клокочет – и воронки на ней, и лохмотья друг на дружку налезают, и скручиваются они, и сплетаются. С час где-то эта тучка клокотала, а потом успокоилась и в ровнёхонькое пушистое облако переродилась, словно светлую песцовую шубку на себя примерила. Так и засверкал, заискрился мех на солнышке.

Вдруг прямо из облака молонья ударила. Без грома так-то, тихонько возле пепелища стеганула. И на том самом месте, где она в землю ушла... лесовин Дорофей объявился. Оправился с ходу, ощупал себя со всех сторон, бородёжку огладил – и перемены в нём никакой. Может, даже ещё справнее стал. Глянул он на Мираша укорчиво и погрозил кулаком.

– Ишь, шельмец, что удумал! – закричал он. – Так ты гостей привечаешь?! – и вдруг сник и махнул рукой. – Ладноть уж... сам по молодости такой был. Стало быть, загостевались мы...

Из облака одна за другой молнии полетели. И то тут, то там лесовины наявляться стали. Кто смеётся, а кто тоже на Мираша напустился. Без злобы, правда, грозятся, словно потешаются.

Супрядиха подскочила к Мирашу и выпалила восхищённо:

– Говорю же, наший он! Ох и смекалистый! Ох и смекалистый! Настоящий суровежник! Дай я тебя поцелую! – прихватила вершу крепко за плечи и в щёку клюнула.

После того собрались лесовины скоренько и, довольные и весёлые, полетели к Северьяну Стамушнику гостевать. Про ссоры и не вспоминают. Друг у дружки о Мираше справляются. Ну и промеж собой всё-таки оценку такую дали: дескать, не весь верша, не весь, то есть дурачок...

Зарубка 2

Шальная девка

Ну и зажил Мираш в лесовинах. Сразу же, вопреки советам и наумкам, захотелось ему людей смотреть. Мечта всё-таки... Лес, думает, от меня никуда не уйдёт, а на человека своими глазами глянуть надо: может, напраслину на людей наводят.

А тут вдруг Супрядиха Уховёртка заявилась.

– Хочу, – говорит, – тебя в деревеньку сводить. Супостатов этих показать. Когда ты ещё сам соберёшься! А я тебе сама укажу, какой худой человек, а который и ещё хуже. Ясное дело, пока зачнёшь тореть да навывать, сколь времени утечёт?!.. А я тебе, так уж и быть, весь расклад предоставлю...

Мираш вовсе не обрадовался, сам, вишь, хотел всё узнать, а тут, получается, с чужого языка складывать придётся. Потом поразмыслил да и согласился. Всё равно, думает, меня не обманешь.

Повела Супрядиха вершу в Канилицы. Деревенька хоть и небольшая, а дворов полста наберётся. Слушает Мираш ключницу, и, по словам её, выходит, что ни одного доброго человека там нет.

– Вот сам увидишь, – заверила она. – Одни злыдни.

Мираш своё заладил: человеками, дескать, не интересуюсь, на домашнюю животинку желаю глянуть. Сам разговор в сторону уводит и знаниями своими хвалится.

– Я по животинке, – говорит, – сильно обученный. Если тепло излучает, значит, молочное животное или птица. Вот если бы рыбы были теплокровные, то вода в речках была бы горячая и лёд зимой толсто бы не замёрз. Или вообще бы льда не было.

А тоже – промашка у него вышла: бурундука от белки отличить не смог... Подозвал векшу² и спрашивает:

– Хорошо ли тебе, бурундучок, живётся, сытно ли?

Белка фыркнула обиженно и стреканула от лесовинов. Только хвост по деревьям замелькал.

Супрядиха прыснула в платок и наставлять Мираша взялась.

– Всему тебя обучу, – говорит, – ты только с человеками тут одними подсоби...

Ну и заподозрил Мираш неладное.

Пришли в деревню (невидимые, конечно, для человеческого глаза), и Супрядиха к нужной для себя избе потянула. Но Мираш заартачился и в другую сторону повернул.

Зашли в первое подворье. Мираш и спрашивает:

– Где тут куровник?

– Что за куровник? – не поняла Уховёртка.

– Ну, где куры и другая птица живёт.

Супрядиха ещё лишь утвердилась, что Мираш недалёкий – не ошиблись, стало быть, лесовины, – и посмеяться надумала. Завела вершу в конюшню, показывает на кобылу с жеребенком и говорит:

– Вот гусыня тебе. Любуйся...

А Мираш вдруг знания обнаружил... Только посомневался немного. Почесал в затылке и спрашивает, на жеребёнка показывая:

– Только не разберусь никак... это от лошади приплод?

Так и ходили по избам и подворьям, друг дружку с толку сбивая, пока Супрядиха не подвела Мираша к тому дому, к которому поначалу тянула. Обычный такой домишко по улице

² Векша – белка.

вовсе непримечательный, а Мираш сразу неладное почуял. И мысли невровень пошли, сторонние подбиваться стали.

Надобно сказать, верши в будущее смотреть могут. Не так, конечно, что всё про всё им известно и что хошь предскажут, – нет, об этом и говорить нечего. А почуять могут событие важное, которое уже совсем близко – за час – за два так-то. Есть и такие верши, что и за сутки скажут, но это редкость вовсе. Да и нет никакой предопределённости.

Вот и сейчас Мирашу подсказки и наумки пошли. Не успел он и в толк взять, что да как, к дому машина грузовая подъехала. Да резво так, чуть забор не смахнула. А тёмненько уже – не очень-то и видать, даже для глаза лесовина. Погляделось Мирашу: женщина с машины метнулась, словно напуганная сильно. За ней шофёр кинулся, крича снадрыву:

– Ленку, Ленку держите! Спятила совсем баба! Наделает сейчас делов!..

Сам, видно, распалился не на шутку. И собака рванулась с цепи, и чуть лаем не захлебнулась.

Мираш тотчас же в этот дом поспешил. А Супрядиха вдруг испугалась (то было обрадовалась, когда Мираш к дому привернул, а тут в женщине кого-то признала...) и давай вершу отговаривать. Мол, пустое дело, рассорка семейная... Только он и слушать не стал, даже не обернулся. Ну и, по своей сути, не в двери вошёл, а через оконное стекло просунулся – сквозь прозрачное оно, знаешь, всегда легче препятствия одолевать. Разобраться решил, конечно, в чём суматоха, ну и по доброте душевной отозвался. Оно, вишь, может, помощь нужна, а для верши испуг снять – дело пустяшное, ни с какой мальханкой³ даровитой не сравнить.

А Супрядиха следом не пошла. К лесу поворотилась и чезнула второпях, будто её и не было.

* * *

В доме этом старая Агафья живёт. В Канилицах она за первую целительницу сльвёт. Врачует на-умёк, да ещё самогоном и бурдешкой потихости приторговывает. Знатный, слышка, у неё самогон получается. Чего уж она там мешает, трав ли, настоек каких, вот только селяне до своего срока не доживают и на здоровье утлые становятся.

На самогон, конечно, никто не грешит, а сразу к Агафье и спешают – порчу да сглаз снимать. Оттого у неё всякое время в избе народ толкошится. Кому пошепчет и воск отольёт, а кому и на картах скинет – про судьбу расскажет. Будто на карты она, судьба-то, и намётана. Словом, Агафья всегда при деле и не скучает нисколько.

В это самое время она тоже приём вела. Полная комнатёнка недужных – все стулки заняты. Бабы-селянки собрались – и старушки, и молодухи здесь. Из мужиков – Андрюхаворобушек и дед Андреич, беседливый старичишко. Жена Ксения Андрюху от пьянства привела отваживать, а Андреич всё больше посудачить да лясы-балясы поточить приходит. Ну и здоровьишко поправить заодно.

...Лена вбежала, точно гонится за ней кто. Волосы растрёпанные, а глаза неживые – словно перед собой смотрит и словно в никуда. В уголок забилась и давай там рыдать диким воем.

Всем ажно не по себе стало. Кто утешать поспешил, а кто и на Бориса – это который Лену привёз – накинудся, спрашивают, чего случилось да приключилось.

– Ленка наша нагулялась, наплясалась, дурочка, – злорадно бухнул он. – Теперь белочка её не скоро отпустит.

– Чего плетёшь, дурак, – вступилась за подругу Алка, продавщица местной лавки. – Она ко мне днём в магазин заходила. Хоть бы одна хмелинка в глазу!

– Ну да, увидишь ты у неё хмелинку, как же, – заскрипела баба Аля. – Надирается не хуже мужика, а сама как стёклышко.

³ Мальхане – лжецелители

– От кого везёшь? – подступилась и Ксения, позабыв про своего непутёвого мужа (тот, как суматоха началась, тут же в сени юркнул, а там и был таков – ищи его теперь). – Не от Пряхиных ли? У них вчорась пьянка была.

– От Пряхиных... – съязвил Борис. – Я, наверно, с фермы еду.

– Чай, не в деревне была?

– В деревне... – Борис снисходительно вздохнул. – На болоте нашёл! Вот и не хмелевик тебе!

Все растерялись, только Ксения не отступилась.

– На болоте?! – ахнула она. – А чего это она там?

– А ты у неё спроси. Я-то уже наслушался, пока вёз...

– Сказывай уж, не тяни, – построжилась баба Аля.

Борис помолчал для важности и говорит:

– Чуть под колёса мне не бросилась, дурная. Гляжу, машет руками как очумелая и дрожит, напугал, видно, кто. Глаза-то её видели? То-то. Я сначала не разобрал, а потом гляжу: то Ленка-плясунья. Вот так, попей её, родимую...

Про Ленку-плясунью на деревне всякое, знаешь, болтают – такая, слышь-ка, небывальщина, что и на веру не возьмёшь. А познакомишься да приглядишься – тут и засомневаешься: может, и правда всё...

И то верно, самая она на деревне весёлая-развесёлая. Где песни поют, там она первым голосом ведёт. А хохотунья справная! Такого звонкого смеха нигде не сыскать! Над мужиками подтрунить – это её первейшая потеха. С серьёзным лицом к ней и не подходи: сразу же шабунять да изгильничать станет. Так обсмеёт, что после седьмой дорогой обходить будешь и головой крутить, как бы на Ленку не наскочить.

Странность за ней водится – не раз селяне подмечали и дивовались. Пьёт наравне с мужиками, да ещё лише – только подавай. Иной крепкущий мужик столь не потянет да в сон рухнет, сколько себе Ленка-плясунья в нутро прольёт. А на утро, после пьянству-то, все пластом лежат и с похмелины маются, а Ленке хоть бы что, и будто ещё здоровее стала. Спросонков только глянет, осмотрит место лихой пирушки – не осталось ли чего? – да песню затянет, и по дому ладить возьмётся.

Однажды с ней в городе история случилось. Сидела в кабаке каком-то ну и увидела, как пятеро мужичонков заказали бутылку водки и пять стаканов. Лена недолго думая подозвала официанта и заказала... пять бутылок и один стакан. И всё это спокойнёхонько выпила. Вдобавок ещё трезвей осталась тех пятерых. Не мудрено, конечно, обычное для неё дело, а тогда удивила людей, позабавила.

Сейчас-то Лена одна в избушке хозяйит, а раньше-то два раза взамуж ходила.

Первый муж у неё Семён был. Он-то свой, канилинец, родственники его по всей деревне живут. А Лену со стороны взял, с другой какой-то, дальней деревеньки. Мало кому она по нраву пришлась. Юркая да востроглазая, и всё-то по своей думке перегибала. Сразу, слышь-ка, не схотела с родителями Семёна жить. Стребовала, чтобы он свой дом ставил. А Семён что? Не очень-то и противился, во всём её слушался и не перечил – сильную, сказывали, она над ним власть взяла. До работы и вовсе неохочая оказалась, всё боле по гостям Семю тянула и на пирушки-гулянки рядилась.

Только не зажились они в новом доме. Семён-то и ростом высоконек и в плечах широк был, а на поверку хрупкий оказался... От малой хвори отбиться не мог. Стал всякую таблетку на вкус пробовать и силу в ней искать, – может, оттого пуще хиреть и начал... А быть может, ещё какая подсоба была... Годов-то сколь минуло – кто сейчас скажет?

Ну и вовсе исчах. Так и положили в землю: тело сохлое, кожа на костях висит, веса-то в нём никакого и не стало.

Страшно Лена по Семёну убивалась. Чуть было умишком не тронулась. А может, и пошатилась: очень уж непутёво у неё жизнь далее сложилась. На могилке тогда весь день и всю ночь пролежала недвижная. Здоровенные мужики не могли с ней совладать, насилиу уж увели в деревню. Вдовесок ещё полгода не в себе была – про гулянки и не поминай! – сидит тихонькая-тихонькая и в белу стену немигаючи смотрит. Бабы её силком кормили да утешали, каждая на свой лад. И знахарка Агафья возле неё кружилась – отпаивала и отшётывала.

Так-то Лена с горем пополам и очухалась. Да потом ещё развеселее стала.

И со вторым долго не зажила. А может, и не было никакого мужа? Что-то никто о нём толком сказать не умеет. С трудом вспоминают одно: был-де какой-то, с месяц, может, и пожили, да он ни с кем и не знался – молчун был нелюдимый, а то и даже немой. Лена потом сказывала: «Накой неумеха нужен? Никакого в нём проку...», мол, прогнала обратно в город.

После того замужества одинакая так и осталась. Детей нет. Ну и повела, слышь-ка, жизнь шатучую: сойдётся – разойдётся, пристанет – отстанет.

Странная она, что и говорить, загадочная. И сродственников её никто не видел. Спрашивали, само собой, а Ленка только отмахивается:

– И знать их не хочу. Сама проживу, не заскучаю.

И что интересно, в деревне ни одного плетухана не нашлось, чтобы про Лену толково объяснить. Оно ведь как – какая крестьянка не так жизнь повела или сказала что-нито, про неё уже молва колесом покатила: мол, икотница,⁴ ведьма, в свинью оборачивается, у коров молоко крадёт... А про Лену – ничего, ну, только – спаивается девка, шальная и бедовая.

... Не дослушал Мираш, что там Борис плетуханит, а сразу к Лене оборотился. Глянул... да и застыл от неожиданности...

Агафья над Леной пухтает⁵, а той только хуже стало. Никакие заговоры-наговоры не помогают.

– Вижу, – заключила старуха, – крепко в тебя спуг сел. – И взялась чашками греметь и выбирать, какой у неё настой от спуга и для спокойствию.

Намешала скоренько зелья и для верности самогонки своей плеснула.

– На-кось, дочка, испей средства верного, – подступилась она к Лене. – Сразу в себя придёшь.

Лена испила, и ей вроде как и впрямь полегчало. То всё ревмя ревела, а тут с придыхом притихнулась, и какая-никакая живость в глазах появилась.

Мираш про свою помощь напрочь забыл. Да и какая тут... Стоит и в толк никак не возьмёт – смотрит он на Лену, а это и не Лена вовсе, а лесовинша Лека Шилка на стуле сидит и платком утирается... Такая, вишь, несурзачица дичайшая.

– Ой, Агафьюшка, набулькай мне ещё скорей, – простонала Лена-Лека, – Нито со страху от в серёдке всё колыхается.

Мираша она не увидела, само собой, не дано это, понятно, в скудельном теле. Если кто из тусторонних в человека оборачивается, сразу все сверхспособности теряет. Может только образ менять да обратно бесплотным становиться.

– Надо, надо, – одобрительно закивали вокруг, – намаялась, видать, сердешная.

«Да уж, намаялась, сердешная», – подумал Мираш и стал ждать, что дальше будет.

Агафья налила, не поскупилась, и Борис тут же заёрзал:

– Ты энта... и мне налея для сугреву...

– Ага, – съязвила Ксения, – он у нас ирой! Ему положено!

Лена отпышалась чуть от «лекарствия» и повела со стоном:

– Ох, девки, и натерпелась ужо страху-от, чуть сердце внутрях не сорвалось.

⁴ Икотница – в народе – наводящая порчу.

⁵ Пухтать – шептать, знахарствуя.

– Ты, дочка, – лилейно запела Агафья, – коли страшное что, то и не поминай. А то как бы тебе хуже не стало.

– Ох, Агафьюшка, я уж бежала, торопилась. Всех упредить надо, чтоб на болото не ходили.

«В честь чего это она? – подумал Мираш. – Обо мне, что ли, заботится?»

– Почему не ходить? – спросила Ксения. – Клюква, чай, поспела.

– А то и не ходить, – и вовсе завыла Лена, – что на нашем болоте болотняк объявился.

«Во дела...» – озадачился Мираш.

– Ты уж не мели чепухи, – посуровела Агафья (сама-то она, вишь, хоть и знахарит и, по человеческому понятию, силой тусторонней владеет, а таких разговоров чурается).

– Чего мне молоть, обдичала я, что ли?! Своими глазами видела!

– Ой как интересно! – чуть не задохнулась продавщица Алка. – Я страсть как такие истории люблю!

– Тебе интересно, а я чуть со страху не померла.

Агафья ещё попыталась разговор в другую сторону свильнуть, но куда ей против общества совладать?

Давно таких разговоров в Канилицах не велось, оно и интересно. Ранешно-то про Суленгинские болота много разной напраслины тучили-мели. Такая худая слава крепилась, что не всякий туда пойти насмеливался. Если селянки за клюквой наладятся, полдеревни артелка собиралась. Идут, песни поют, смеются да храбрятся. И на ягодах рядком держатся, друг дружку из вида не пускают. А в последние годы худые смутки притихнулись. И по клюковку стали парами ходить, а то и в одиночку вовсе.

– Дура я, дура, – ругала себя Лена. – Кисленького мне захотелось. Варенья решила сварить. Теперя ни в жисть не пойду на эту чарусу. Ох, девки, и главное, как заманивал-то, как заманивал!

– Кто опеть? – скривилась баба Аля.

– Говорю же, болотняк заманивал...

Хотела баба Аля съязвить, но уж больно Ленка-плясунья жалистно гляделась... Прикусила язык и вместе со всеми слушать стала.

– Мы с Танькой в прошлый раз по окраишу ходили. Набрали – насилу унесли. А я с дуру-то в глубь полезла. Смотрю, согра обышная, вроде как и опаски никакой, а клюквы видимо-невидимо – все кочки в краснах. Собирай, где хошь, а всё равно гляжу: вон подальше будто ковёр в рубинышах переливается, ровнёхонько стелется. Думаю, сейчас за раз соберу. Вроде и под ногами крепко, и вода среди кочек чуть проглядывает. Подхожу, а там дальше – ишо больше ягоды. У меня как, девки, всякое разумение отшибло – пру, дороги не разбирая. И главное, ни ягодки не сорвала – как наваждение какое. Опомнилась, а вокруг топи, трясина так и колышется! Пузыри со дна поднимаются и бухают, бухают – ох и страсти-то! В самую чарусу угодила. Всю меня так и охолонуло! Назад оборачиваюсь, а меня и совсем закрючило. Стоит болотняк и на меня своими глазищами зелёными полыхает. Я так и обдичала от ужастии! И двинуться не могу.

Ой, девоньки, и вспомнить страшно! Волосы у него дыбом стоят, точно огонь на голове. (Мираш тронул рукой свои ершистые волосы, пощупал так-то, пригладил чуть). Нос огромный! И слова-то не сказал, а сразу на меня кинулся!

– Вот ужас! Вот ужас! – заголосили бабы.

– Сунулся ко мне, – продолжала Лена, – а ноги и не подались. Тут же и упал, как подкошанной. Врать не буду, девки, так всё и было. Ноги недвижные, и не дрыгнулись, точно паралитийный он. Али андел сзади держал?.. – Лена замерла, ошарашенная внезапной догадкой. – А ведь точно андел!.. – и рыбьими глазами в белу стену уставилась.

– Чего это она? – зашущукались бабы, оглянулись друг на дружку.

– Что тут думать, дело ясное, – Варвара озабоченно тронула себя у виска.

– Как же, ей это не грозит! – подала голос баба Аля. – Она уже давно разуменье сронила, её ничем не прошибёшь. Кривулина у ей с языка соскочила – вона и ловит, назад вертает.

– Ты, дочка, коли в следующий раз такая напасть привидится, – взялась учить Агафья, – сразу кричи: овечья морда, овечья шерсть! Тогда нечистый сразу исчезнет. Али молитву.

– Ой, девоньки, – очнулась Лена, – а ведь точно андел был. Лик его в воздухе позади болотняка колыхался...

– Вон чего, – скривилась баба Аля, – к таким, как ты, анделы и являются... По рогам, небось, узнала?..

Лена и не глянула, вся подобралась и торжественно продолжила:

– Я и подумать ничего не успела. Стою, к смерти готовая. А болотняк как бухнулся, так и завертелся, точно змея, за хвост придавленная, закачался коброй, а сам меня своими страшными зеленющими глазами так и буравит, так и буравит!

Мираш тяжело вздохнул и в пол потупился.

– Ох, девки, и страшные эти глаза, точно душеньку из тебя вытягивают. Ужась как глаза! Не приведи вам страх такой увидеть! Сама не знаю, как и жива осталась.

Бабоньки-селянки на Лену всю смотрят и вздохнуть боятся. А Агафья затаилась, словно и не по интересу ей, травы сушённые перебирает – в деле вся, а сама уши напрындила, слова упустить страшится.

– Ох и злющи глаза эти! – дрожащим голосом говорила Лена. – Такого зелёного ядовитого цвета. Точно зелёный огонь полыхает. И слепют, и адовым огнём душеньку буравят.

Андел его держит, не пускает ко мне, не даёт нечистому ходу-то. А болотняк тожеть не отступается – когти ко мне тянет, тужится со всей моченьки. Ох, девки, и не обсказать мне вам, что за ручины эти!

– Копыта, что ль, были? – опять куснула баба Аля.

Уставился Мираш на свои руки и ничего в них такого необычного не увидел. Так повертел – этак, и ничегошеньки не разглядел. Вздохнул только и отчего-то руки в карманы упрятал.

– Ручины тонюсенькие, как верёвочные всё равно, а в кистях широченные, и когти длиннющие, и скрючены, как багры, кибасьями гремят. (Мираш и вовсе смутился, ещё глубже утянул руки в карманы). Тянутся ко мне, и уже, гляжу, шею мою закрючат. Тут и опомнилась я. Видно, андел помог – снял наваждение. Как закричу, девоньки! Такой ужести в голосе за собой и не упомяну. И – вбежки. Сколько-то отбежала, обернулась, а когти – вот они, точно ещё ближе стали. От ужести я ещё пуще припустилась. Не помню, как и до дороги добралась. Борька-от, спасибо, на машине ехал, – можа, и спугнул болотняка...

Не стал Мираш дожидаться, что там ещё Лека наплетёт, сунулся в окно – и был таков. Во весь дух домой на болото припустился.

* * *

Странно Мирашу показалось, что Лека Шилка на человеческую жизнь прельстилась. Загадка тут, верно, какая есть, – решил он ну и задумался крепко. Да и то сказать, и вершам, и лесовинам строго настрого наказывают, чтобы в человеческие тела на крайний случай оборачивались. А чтобы человечью жизнь проживать, об этом и речи нет. Ну а если кто узнает друг о дружке такой проступок, надобно тотчас же в верховья докладывать. Известно, закон такой.

Думал, думал Мираш, а что делать, так и не решил. Вот ведь закавыка. Покроешь, и сам под расплатицу попадёшь. Да ещё в своих владениях не доглядел.

Однако Лека на утро сама заявила. Будто бы по делу, а сама вся такая потерянная: лицо мучное – бледное-бледное, вся скукожинная, и с опаской в глаза заглядывает, словно вызнать чего пытается.

Сдаля начала выведывать: чем, дескать, занимается, захаживал ли в деревню...

А Мираш скрытничать не стал, всё как есть рассказал.

Понурилась Лека ещё лише и тут же разрыдалась. Потянула к верше руки и молить стала.
– Не губи, – всхлипывая, запричитала она, – сам знаешь, какая наша жизнь невесёлая. Одно и то же... Я же не виновата, что во мне любви столько!.. Сама-то я в этот лес не просилась, силком заставили. Что ж мне теперь, всюю жисть маяться?!

Мираш запохаживал взад-вперёд, на Леку и не глядит, будто о своём задумался.

– Думаешь, я одна такая? Сам-то, небось, про службу и не вспомнил, сразу к людям пошёл... А хочешь, я тебе тайну открою?

Ну и открылась Мирашу, без утайки про свою прошлую жизнь поведала. Тайна у Леки и впрямь мудреная... однако о ней после расскажу, в своё время.

Разжалобила, одним словом. Да ещё слово клятвенное с Мираша взяла, чтобы в верховья не докладывал.

– А я, – говорит, – во всё тебе подсоблять буду. Обо всё расскажу.

После этого разговора Лека, само собой, свою оплошку исправила.

На одной из посиделок опять сказывать стала, что с ней на болоте приключилось. Только теперь с её слов выходило, что тогда несколько болотняков было...

– С разных сторон подступались, – рассказывала она. – Напредки старуха надвигалась. Уж такая страшная яга, такая карга! Ведьма, точно. Нос ниже подбородка свисает. Древняя-предвняя старушенция... а глаза девьи. Так и буравят тебя, так и буравят...

Баба Аля опять промеж соседок оказалась, ну и не преминула подначить шальную девку:

– Ты же тогда про старика сказывала. Помер, что ли?

– Я?! Про старика?! – Лена, точно ничего не понимая, округлила глаза.

– Ну, паралитический ишо, – подмигнула старушка соседкам.

– Сама ты паралитическая, хрычовка старая, мозгой клинутая! – вскипела Лена. Взнялась не на шутку, в голосе – гром, в глазах – молнии.

Склокой, конечно, всё обернулось. А потом ещё и на всю деревню плясунью высмеяли. Ленка и без того за первую смотницу слыть стала. Ну а ей что – и не успокоилась вовсе, сама масла в огонь ещё лише подлила, на всякий вкус приплетушки по деревне пустила. То одно сляпает, то другое.

– Такого красавца тогда на болоте видела! – сказывала она. – Ох и такой красавец! Ох, красавец! Помню, на энтого артиста похож... только фамилию забыла...

Словом, завралась Ленка-плясунья – кто такой поверит?

А Мираш покуда в лесные дела с головой ушёл. Столь работы, что о скуке и не поминай! Наперво всех зверей и птиц пересчитал. И другую животинку малую на учёт взял. Недужных и на здоровье хрустких посмотрел. Если хворь пустяшная, враз исцелил. Силой верши и простым врачеванием, коим каждый лесовин владеет.

Между нами будь сказано, бывали случаи, что какой-нибудь лесовин, о помощниках мечтающая, вовсе врачевать не брался, а то и мор напускал. Быстро, конечно, такого расплатица настигала, ну и выпрягали лесовина, на заслуги не глядя, и уж никуда более не ставили. К Мирашу тоже такая наумка подбивалась. Захотелось скоренько помощниками обзавестись. Да только тотчас же он её и отбросил, не пустил в сердце.

...Специальную книжицу по службе завёл – памяти на подсобу да верховному началю для отчёта. И рыбу в Суленге глядел, конечно. С Ириньей Ильницей они по омутам да перекатам ходили (лесовинам, известно, воздух ненадобен – ходят по дну, ально посуху). Потом в других речушках и ручейках малых смотрели, да озерах лесных. Исследили всё вдоль и впоперёк. Многонько неполадок Мираш сразу устранил, а что и на будущее наметил исполнить.

Зарубка 3

Послало небо помощников

С начала служения не задалось Мирашу добрыми помощниками обзавестись. Первой лису Смолу Аникаеву приветил, однако та помощница вовсе никудышная оказалась. Спит целыми днями-ночами, из дома носа не кажет. Соня да ещё зарёва знатная. Почивает себе в спальне и вся слезами обливается. Да порато так: толкотня в глазах, слеза слезу погоняет, по полу ручьи текут. Чего уж там она во снях видит, не сказывает. Да только вовсе это не хитрая загадка. С мясоедами частенько такое положение случается: снами свою прошлую жизнь выплакивают.

Проснётся, и вся мордаха мокрая. Ну, чего уж там, вытрет насухо, возле печки посидит, обсохнет – и дальше спать.

Мираш на неё сразу рукой махнул. Всё же хоть и по книгам, а порядок знает: никак тут не поможешь, не подсобишь. Только время-лекарь и отмерит, сколь надо.

Вторым помощником филин Савин Баин стал. Перехварывал он недолго – два дня да ночь всего и помаялся. А потом – ничего, вроде как здоровёхонький... Сон его возьмёт на минуту-другую (плоти из скрытой материи сна много не надо, есть и такие тусторонние, что и совсем не спят), а так и неделями глаз не смыкает.

Помощник будто справный, лучше и не надо, вот только тихостный больно, как пришибленный всё одно. А как станет его Мираш в лес наряжать, так беда с ним: отговорки разные ищет, за каждый повод цепляется. Всё к одному склоняет, чтобы в лес не лететь.

Вид всегда у Савина серьёзный. Перьев на голове мало совсем, так, с боков и сзади реденько. Макушку словно плешь съела – сдаля посмотришь, будто белое яичушко из гнезда выглядывает. Ну и во всём обличии – гладенько да серенько.

Перемена в нём, конечно, сильная случилась. От былого филина ничего и не осталось...

Люди про филина всякое сказывают. И лешаком его называют, и что в нём завсегда нечистая сила гнездует. Поверье пошло, будто встреча с ним вовсе не к добру. Такая зловещая птица... увидел, и готовься принимать лихо. А среди лесного народца филин и вовсе не в чести. Будь то мышонка малая или медведь, а от жути филина мало кто уберётся.

И то верно, в ночи встретишь, и впрямь страх берёт: глаза у филина большие, краснющие, как светящиеся тарелки всё одно; а как уставится немигаючи, так и блазнится, что огненные буркалы навстречу наплывают. А уж когда ухнет да захохочет – вот ужас-то!

Савин Баин раньше, при скудельной жизни, и вовсе изгильником был. Да таким, что даже среди других филинов на особинку. Те, может, и не нарочно пугают. Голос дадут, и вся животинка в страхе таится или вбежки пускается. Савин же всегда с умышлением подстерегал. Самая его забава – медведя погонять.

Спит, бывало, мишка, ни о чём не печётся. Сон у него хоть и чуткий, а какие ему враги? Савин подлетит тихохонько... Полёт у него и так неслышный, а он ещё пуще осторожничает, спланирует над косолапым да как ухнет над самым ухом! Да захохочет! Миша ажно в спине переламывается – да напрямки через чащобник. Малые деревца как щепы разлетаются, а большие – словно и не замечает. Кто видал, чтоб медведь летал, – он пеший как леший! Сколь шишек набьёт, пока в ум войдёт!

А как Савин весну ждал!.. В пору-то эту медведи из берлог выходят. Да и других зверей и птиц не обходил. Тут не ленился. А потом перед другими филинами бахвалился, рассказывал, как скуку разгонял.

Потом уж, когда скудельное тело оставил, всё и переменялось. Боязливый такой, каждого шороха пугается. Про лес ему и не поминай! Да ещё всё время жалится.

– Мне, – говорит, – с рождения повредили имя. Я не филином должен быть, а сразу лесовином. Вот сейчас у меня своя, найдённая судьба. Только я не окреп пока.

Уж как ему только Мираш не объяснял, что он – бессмертник, другой сути, а Савин – ни в какую. Крылами макушку закроет и сидит притаившись. Погоревал верша, конечно, а всё же и от Савина польза малая нашлась.

Так оно водится, что хоть у лесовина и мудрость в голове, и познания природные великие – не чета человеческим, а всё равно у помощников совета спрашивать надо. Те нет-нет да и скажут правильное решение или наумку подадут.

Боязливые, они, известно, всякую беду притягивают – и свою и чужую. Опасность везде примечают, всё-то им страхи мерещатся. А Савин и вовсе гореглядом стал. Если в лесу что худое случится, он намного раньше Мираша знает. Любую будущую крушину⁶ видит. Всё перед ним доподлинно является, малая подробность на глаза наплывает.

После таких видений, правда, Савина лихая трясунница-гнетунница охватывает. Забьётся он в угол и дрожмя дрожит. И сам себе шепчет в горстку, что и не разобрать. Станет Мираш его расспрашивать, а филин каждое слово с опаской пускает и молчит подолгу.

Однажды такой случай вышел. В то утро... Это когда ж было?.. Вот, считай, Мираш в сентябре на службу заступил, а тут на начало ноября пришлось. Мираш увидел, что с Савином лихоманка случилась, ну и давай выведывать:

– Опять что увидел? Не пожар ли?..

Савин повздыхал тяжело и говорит:

– Видел я: человек косулю стрелял... – и замолчал.

Верша сразу брови свёл и спрашивает:

– Насмерть или нет? – подвинулся ближе и ухо подставил.

– Насмерть... – еле выдохнул Савин.

Вызнал всё-таки Мираш в каком месте и в какое время беда случится. Тотчас же и засобирился. В нужное время и на место прибыл... косулька – вот она, пасётся себе спокойненько, ни о чём худом и не ведает.

Глянул верша на часы и удивился: до крушины считанные минуты остались, а ему самому бедовая наумка в голову так и не пришла. «Неужто неотвратимо?» – подумал так-то, подумал да и отогнал эту мыслишку. И раньше такое случалось. Как Савин Баин появился, так и разладки пошли.

Вскоре и охотник появился. Признал Мираш в нём Игната. На него ещё Лека Шилка показала. Самый он, говорит, жадный до лесной крови. Этому волю дай – всю животинку в лесу изведёт. Мираш, понятно, его сразу и невзлюбил. И раздумывать не стал... да и что тут думать: косулька молоденькая совсем, жить ей да жить, и лес радовать. Решил, конечно, пулю отвести. А потом ещё, думает, поучу кровохлёба. Будет знать, как зверушек губить.

Подступается Игнат сторожко, со всем старанием смотрит, куда ногу поставить. Так и вымеряет, чтобы ветка не хрустнула да лист жухлый не шорохтел. Как водится, против ветра заходит. По науке. Грома, собаку свою, в обход пустил. Наметил, вишь, чтобы, в случае промаха, на хозяина пригнал.

Косуля и не примечает, что её скрадывают. Голову подымет, поводит лопушными ушами, глянет по сторонам и опять травку выбирает.

Посмотрел Мираш, как Игнат старается, да и посмеялся про себя. Дождался, когда тот выцеливать начнёт, и между ружьём и косулей встал, прямёхонько под прицел подставился. Верное это средство: если пуля через тело лесовина пройдёт, враз плотную природу свою теряет и никакого вреда причинить уже не может.

⁶ Крушина – смерть.

Целится Игнат, щурит кровожадный глаз и умишком прикидывает, сколь в косуле весу да какую денгу за мясо взять. И уже рубени⁷ перед глазами легли. А самому невдомёк, что верша напрямки стоит. Близко совсем, в метрах двух так-то. Стоит и думает, как бы так изладить, чтобы Игнат дорогу в лес позабыл.

Выждал убойца, когда косуля голову опустила, и послал пулю под лопатку.

Громыхнуло на весь лес... косулька вскинулась и опрометью в чашу сиганула. Только белое пятнышко среди кустов мелькнуло. Игнат ругнулся и вдогонку пальнул со второго ствола. Мираш опять грудь подставил, и только знай себе посмеивается. Убойца и вовсе разаркался. В спешке ружьё зарядил и широкими скачками вдогонку ринулся.

Мираш за ним поспешает... про косулю уже не вспоминает: решил, что далеко она ушла – не догнать. Придумал он лесину так поставить, чтобы Игнат на неё лбом наскочил. Вперёд забежал и смотрит, как бы свою задумку на деле изладить.

Тут вдруг лай послышался. С той стороны, куда косуля сиганула. Мираш опомнился и к Игнату кинулся. Да только... тот уже выстрелил. Впопыхах, слышь-ка, пальнул. Коричневое пятнышко между деревьями мелькнуло, и далече совсем... Да и Игнат не целился... Так, наудачу... Сам, может, и не понял, как успел. Вот ведь... а попал...

Зареготал убойца с довольства и поскакал добычу свою рвать. А там уже Гром ярится, клыками за пазанки вцепился и хрипит.

– А ну, пшёл! – Игнат грубым тычком отогнал собаку.

Косулька ещё живая была. Приподнимаясь, она скребла передними копытцами. Из последних сил подняв запрокинутую голову, посмотрела на Игната своими большими чёрными глазами... Но тот уже насел, как коршун, вонзая все когти, и выверено занёс руку с ножом...

Когда живика из тела выходит, сразу и образ телесный принимает, раздваивается всё одно. Это только для глаза лесовина заметно, ну и для других, кто скудельным телом не обременён. Человек, конечно же, видеть живику не может. Это уж по сути ему не дано.

Игнат потрошит тушку и не ведаёт, что рядышком Юлька-косулька стоит. Грустно так смотрит, и чуть задумавшись.

– На-кось, заслужил! – Игнат бросил окровавленные кишки Грому.

– Пойдём... – Мираш тронул Юлю по спинке. – Сейчас Соня за тобой придет.

Косулька легко встрепенулась и отвернулась от своего тела. Без всякой жалости так-то, будто всё равно ей. Рядышком с Мирашём пошла и не обернулась ни разу.

Отошли немного и стали в сторонке Соньку Прибириху дожидаться. Мираш шутейное да весёлое рассказывает, Юльку приободрить старается. А та вовсе и не смурная, лёгкого нрава оказалась. Сама шутить взялась. Весело ей стало: очень уж серьёзное лицо у верши... Более часа прождали, ну и ясно стало: не придёт Сонька, все сроки вышли. А это значит, что косуля в помощницы назначена.

Мираш Юле об этом сказал, а она и не растерялась нисколько, обрадовалась даже. Засмеялась звонко и на вершу с расспросами набросилась.

Что и говорить, многие живики, которые лесную жизнь ведут, мечтают лесовинам помогать. По тем же лесным тропкам ходить, и уже не таиться в страхе, а по-хозяйски старых знакомых привечать. «Вот я задам этим волкам, – сразу подумала Юля, – и медведям, и человекам...»

– Сама знаешь, какие места у нас, – расписывал Мираш житьё лесовинов. – Здесь и будешь жить. Исходила, поди... Каждую полянку изведала.

Юля тряхнула лопушными ушами, как ладошами махнула.

⁷ Рубени – рубли.

– Да что я видела, – вздохнула она. – Всё от волков этих бегала и от медведей пряталась. Не до красоты было. В чашу и вопче боялась заходить. Там рыси, говорят, на деревьях сидят. Караулят. Я, к счастью, ни одной не видела.

– Неужто?

– Ага. Страшные они, наверно?

– Вон к тому озерку подойдем, и увидишь рысь, – сказал Мираш, хитро прищуриваясь.

– Да нет, это я так... – вдруг заволновалась Юля. – Не надо... Что от неё ждать, от рыси от хищницы?

– Эх ты, трусиха, – улыбнулся Мираш. – Ты же сейчас другая. Никто тебе зло причинить не может, да и скляны мы – не видит нас никто... почти...

– Хорошо, – кивнула Юлька, брыкнув маленькими рожками, а сама всё одно нет-нет да и оглянется по сторонам. И непонятно, то ли с опаской озирается, то ли в диковинку ей всё.

К озеру подошли, и косулька, по привычки, в сторону повернула, по бережку обойти решила. Однако Мираш тотчас же упредил:

– Так, напрямки, и пойдём. Чего нам круголя давать?!

Юля недоверчиво покосилась, а верша уже на воду ступил да и пошёл, как по твёрдыне всё одно. Только лёгкая рябь в стороны побежала.

– А мне тоже можно? – спросила косулька и робко тронула воду копытцем.

Мираш даже и не остановился. Юля испугалась чего-то и припустилась вдогонку. Пошлёпала по воде, как посуху.

– Здоровско! – опомнилась она. – А про рысь пошутил, наверно?

– Рыси-то? – Мираш ещё лише на себя хитрющий вид напустил. – Да их полно здесь! Они же в воде водятся? Вон, смотри, по дну ползают...

Глянула косулька на воду-то и ахнула... кошачья морда на неё пялится... Подняла она правое копытце, а это и не копыто вовсе, а лапа когтистая... Враз она, с испуга, этой лапой по воде и плюхнула, прямёхонько по мордахе кошачьей попала. Та сразу и скрылась в заплесках, в рябях расплылась.

– Ну, чего чураться? – спокойно спросил Мираш. – Себя разве не узнала?

Хотела Юля ответить... да как мявкнет не своим голосом! Тут и вовсе струхнула, уши прижала к темени и опрометью от верши сиганула. И не к берегу, а напрямки через всё озеро понеслась – только мохнатые пятки засверкали.

И надо же такому случиться, что Юля на старика Елима наскочила. Он как раз в лесу с собаками своими, Оляпкой и Сердышом, прогуливался. Возле озера остановился и на уток засмотрелся.

– Смотрите-ка, прохвосты, поздний выводок никак, – с горечью говорил он. – Эхма, беда, беда. На крыло не успели встать. А можа, с последнего, северного лёта? Небось, отстали? – словно на что-то надеясь, рассуждал Елим, но сам же и согласился: – Прошёл уже, северный, прошёл. Эхма, сгибнут, горемычные. Зима, почитай, уже силушку свою пробует. По ложкам снег давно не тает, и забереги крепнут. Хороший мороз – и по всему озеру ледок встанет. Чем и помочь? – задумался старик. – Сетками, чай, огородить да попробовать...

Тут-то из-за мыска и Юля во всей красе вымахнула. Глядит Елим: по озеру, по водной-то глади... рысь бежит. Да напрямком – на него. Старик и оторопел, ноги прям подкосились.

Рысь летела себе, воды не касаясь, а тут вдруг заплюхала лапами по воде – брызги во все стороны, и не так ходко пошла, а всё равно на Елима правит. Испугалась, что и говорить, и сразу же тонуть стала. Забарахталась в воде, забила лапами и кричит утробным голосом:

– Мяу! Мау! Ма-ау!

Страх, известно, всегда силы отнимает. Сковал живику косули и в воду потянул, как скудельное тело всё одно.

Елим быстро в себя пришёл – чем старого напугаешь? Глаза только заслезились, наволока пошла, словно туман красный по озеру за клубился. Утёрся рукавом, смотрит: рысь так же бултыхается, а возле неё... парнишка какой-то объявился. Вида вовсе необычного: волос белый, ершистый, и нос большой, острый... И одежда на нём необычная – в том разе, что уже холода стоят, а на нём штаны суконные и рубаха в клетку. А обувки никакой нет. Так прямо, босиком, по воде и шлэндает.

Наклонился этот парнишка над рысью – и резко к Елиму повернулся. Посмотрел на него странно так, и с удивлением и с испугом будто. А старик смотрит спокойно вовсе, глаз не отводит.

Тут уж Мираш совсем оторопел. И то верно, мыслимое ли дело под человеческий глаз попасть!.. Тотчас же вместе с Юлькой под воду и бухнулся. Сам в щуку огромную превратился, а Юлю в маленькую плотицу обернул. Сразу её в пасть и отправил. Да за зубами пристроил, чтобы не потерялась, значит.

Щука чуть крутнулась и под обрывистый бережок встала, в том месте, где ива-плакушница над водой склонилась. Щуку ничуть не видать, а самой приметно, что на бережку деется. На дне лежит, хвостом колышет, тихохонько плавниками перебирает и за Елимом пригляд ведёт. А он немного постоял, поглядел на воду да и махнул рукой.

– Что-то у старого глаза слезятся, – посетовал он. – Привидится же такое!.. Вы, прохвосты, чевой-то видели?

Оляпка посмотрела умными глазами и вильнула хвостом: не понимаю, дескать, обычное дело. Наверно, рыбы какие плескались или ондатра. А Сердыш и вовсе отвернулся.

– Оно и верно, – согласился Елим. – Можя, на утей засмотрелся – в голове что и колыхнулось, а я путаю...

Оляпка заскулила и потянула старика от озера.

Пошли они дальше, а Мираш обратно свой облик принял и Юлю снова на копытца поставил.

– Это что же это, я теперь, кем захочу, быть могу? – весело спросила косулька.

Мираш кивнул.

– А в медведицу можно?

– Да хоть в слона!

Стала Юля медведицей. Гора горой. Силищу в себе могутную почуяла. Прошлась туда-сюда, захотелось ей берёзку-семилетку сломить, но Мираш упредил – растолковал, что можно живикой, а чего ей и недоступно вовсе.

– Можно, – говорит, – и природную плоть обрести... Будешь тогда настоящей медведицей. И деревья будешь ломать и камни-валуны ворочать – и всё, значит, чего там медведям назначено. А вот способности наши утратишь. Только одна остаётся: назад обернуться можно, а больше – ничегошеньки. К тому же сложное это действие... В особенное состояние войти надо. Напутаешь ещё чего – достанется нам на орехи. А так – тренируйся, – ну и объяснил ей, как самой управляться – образы неплотные менять. Без подсобы, значит, оборачиваться, без догляда.

Так они и шли домой: Юля то орлицей, то совой перевернётся, то волчицей, то лисой. Так развеселилась, что и путаница пошла. Глядит Мираш, то лось с медвежьей головой рядом с ним вышагивает, то ворона с лисьей мордой над головой кружит, а то и вовсе непонятно что.

Сам же Мираш посуровел, серьёзный стал и весь в думу ушёл. Сбила его с толку встреча с Елимом, ох и сбила.

Что и говорить, получается, что человек Елим тустороннюю плоть видеть может. Дела... Нет, конечно, бывали случаи, что люди востроглазые рождались. Хотя это и редкость. А за Елимом ранешно ничего такого не примечалось. Был ведь Мираш в его избушке, знакомился, так сказать, а не сличал его старик, как и другие люди, глазами сквозил. И вот те раз.

Крепко задумался Мираш. И вдруг вспомнил сон свой давний. Тогда он ему приснился, как только на лесную службу заступил и помощников себе выглядывать стал.

Скажу тебе, сны к вершам вовсе иные приходят, нежели к людям и другим, кому плоть природная дана. Верши или совсем ничего не видят, или из открытого будущего. Тайности в их снах тоже много, но не до путаницы. Словом, по снотолковникам верши не скучают. Что приснилось, то и будет.

А тогда нашло на Мираша во снах откровение, что человек ему в помощники назначен, и не сторонний какой, а будто узнает его Мираш, встретит на лесных дорожках. Подивился верша тогда, само собой. И то верно, не часто случается, чтобы лесовину помощника давали, который человеческую жизнь прожил. Сильно уж люди за свою прошлую жизнь держатся. Тяготятся ею, случается, и подсобить норвят родственникам, исправить что или насурочить врагам и обидчикам бывшим.

Забыл тогда Мираш сон этот: обычные помощники объявились, а потом... хоть и откровение, а срок не указан – когда ещё будет!

А тут всё и вспомнилось.

Подумал, подумал да и решил за Елимом пригляд вести, узнать про жизнь его и о корнях родственных.

Да и то сказать, очень его эта тайна озадачила, а то и замечтал немножко... Она ведь, слышь-ка под сурдинку, живика эта, человеческая, особой силой владеет, особой...

* * *

Юлька-косулька простого нрава оказалась. И смешливая, и не вязига какая. Всё, что ей Мираш поручает, с радостью исполняет. Со сноровкой и смекалкой, и точно устали не знает. Одна только у неё слабинка: в еде по-особому неразборчива.

Ранешно, когда косулей природной жила, известно, траву только ела. Самое вкусное и было, что ягодами полакомиться. А сейчас всё стала смахивать. Кладёт себе Мираш котлет мясных и Юльке на тарелку плюхает. Тут же ветчины порежет, колбасы разной, и копчёной и варёной – Юлька знай уминает. Рыбу особенно полюбила, всякой разной готовки. И жаркое тоже, под пряными обливами и соусами. На зелень и не смотрит. Уж стал её Мираш заставлять да следить, чтобы хоть стебелёк петрушки съела или укропу кисточку да сельдерею корешок. А она лишь отмахивается:

– Не могу я на эту траву смотреть, и никакого варенья мне не надо.

Многонько Мираш про Елима узнал. По нраву ему пришлось, что старик о лесе радеет и всякую животинку бережёт и любит. В согласии с душой и добрым сердцем живёт.

Узнал и то, что кромешники ознахарить Елима хотели. Ведовством своим наделить, чтобы он людей «лечил». Дабы со всех земель к нему люди ехали (как уж кромешники возносить умеют да во всех краях, близких и дальних, славу небывалую даровать, про то все знают), о судьбине справлялись, про будущее вызнавали, чтобы потом кромешникам было сподручнее и легче по-своему человеческую жизнь перекраивать. Всяко они к Елиму подступались (незримо, конечно, по своему обычаю), мостки чародейские прокладывали, но ничегошеньки у них не вышло. Крепок оказался душой старик. Ну а отчего Елим тайное видеть может, так и не разгадал Мираш. Вроде бы самый обычный он человек – в том разе, что волшебством никаким не владеет, а поди ж ты!

Сам-то Елим в деревне Забродки живёт. Тоже она, как и Канилицы, на владения Мираша приходится. Деревенька заброшенная, почти совсем опустевшая. В ней всего-навсего три жилых дома и осталось. Елима один, а в двух других старушки живут. Баба Нюра, древняя вовсе старушка, и Меланья Палениха – прозвание она такое получила, потому как горела раз пять или шесть за свою жизнь. В один год, сказывали, три раза избу тушили. Так её, горемычную, в гости боялись приглашать. Рок, поговаривали, на ней какой-то. Ещё две избы – охотничьи. На сезоны в них охотники и рыбаки живут. Одна из них Игната – того самого, что Юльку-

косульку стрелял. Этот частенько в Забродки наезжает. Запреты ему не помеха, потому как браконьер заматерелый. Птицу и на гнезде стрелять будет, не пожалеет.

Если от Канилиц мерить, то Забродки в десяти верстах вверх по Суленге стоят. Это если через болото напрямки – тропка тут неприметная, среди шувары⁸ и зарастельника притаинная. Мало кто по ней, правда, ходить отваживается, да и в яроводие не пройти. А зимой на лыжах и Елим, и охотники, и всякий люд частенько тропятся и какой-никакой путь прокладывают. А так, в объезд, дорога отсыпная, ладная, на двадцать вёрст меряна.

Раньше Елим, когда по Суленге леспромхоз был, лесником служил. Как ни смотри, а рукомесло самое что ни на есть важное. Известно, какое у лесного хозяйства назначение, – пройдёт артель, и нет леса. Только одни пеньки да кустишки помятые. Елим следом идёт с саженцами, врачует землю, латает раны. Всегда у него ладно и на загляденье получается. С добрым разумением да по земле и по солнышку решит, какое деревце посадить надобно – берёзу или осину, кедр или сосну, пихту или ель, – и всходы у него дружные, ни один саженец не чахнет. Точно сама природа указала, где семечку или росточку гнездовать. Всегда он с при сказкой и добрым словом живёт. Росточки ласковым словом привечает. Бывало, скажет: «Тут вам, робята, в самый раз будет. Можя, потом и помянёте старика добрым словом». А они и рады стараться – тянутся к солнышку, шумят, ветушки новые пускают и Елима не забывают.

Рощицу кедровую, что на левом берегу Суленги на Красных камнях, тоже Елим в жизнь пустил. Тогда все, помнится, его подначивали: дескать, не приживётся здесь кедр, условия-де не те. А кедрюши как поднялись! И никакая их хворь не тронула. У других лесников, что в округе значатся, много кедровой поросли шелкопряд и пяденица поела, а у Елима ни один росточек не погиб. Теперь-то его «робята» в широкоплечих красавцев вымахали и орех приносят. Кормят лесной народец и лес радуют.

Сейчас Елим на пенсии давно, да и леспромхоза уже нет.

Когда перевели участок в другое место, Забродки быстро пустеть стали. Многие в Канилицы перебрались, а кто и в город подался. Избы брошенные разобрали по брёвнам и утащили тракторами вверх. Там, по Суленге, в семи верстах от деревни и до самого верховья, бобровый заказник организовали. Нашлось, знаешь, в городе доброе управление, когда уж, конечно, зорить стало нечего. Всякую рубку запретили – разрешили только бобрам лес валить, – егерские кордоны поставили и охотников да промышлятелей турнули. Лесу какая-никакая, а передышка.

Правда, охранную зону вовсе невеликую обозначили: на пять вёрст от речки в одну и в другую сторону, и в длину – не более тридцати получается. Оттого и не перевелись в Забродках охотники. И к Елиму по зиме частенько на постой просят. Старик так-то не гонит с порога, если те не жадные и со спокойным разумением, да и зимой в компании веселее. Вот только наумку всякий раз пустую даёт. Укажет место: мол, там непременно лося добудете, а тут-де постоянно маралы держатся, – а на поверку по-другому выходит. Побегают охотники весь день, исследят все «пушные» места, а вечером ни с чем возвращаются.

Посмеётся Елим, да ещё засомневается: что за промысловики опытные такие, что за добытчики?! Сам ещё ружья посмотрит, пощупает: может, в них дело, небось, брак на оружейном заводе?.. Или не пристреляны?.. А может, глаз не верный омманул?..

А горе-охотники от такого невезения и давай спаиваться, да без удержу. И Елима за стол тянут. Только он это дело вовсе не жалует. Редко когда выпьет с кем рюмку-другую, а так только отнекивается:

– Нече мне на энто баловство время переводить, а развесёлые годы я уже проводил, и здоровье тожить, не дозовёшься.

⁸ Шувара – водные растения.

Сам-то он не грюма, то-то и оно, что, наоборот, весёлый да беседливый, а вот такую свою жизнь повёл.

Четыре года назад легко отошла его Алёна, без единого стона преставилась. Легла и Елима к себе призвала. Глядела на него долго, а потом сказала:

– Ночью, верно, помру... Ты уж не отходи, побудь рядышком.

Елим – по своему нраву – сразу на неё напустился:

– Очумела, старая?! Ишь, чего замыслила! Раньше меня и не думай! Вперёд я пойду, а опосля, как знаешь, – а сам видит: собралась Лёна, собралась...

Смотрит на него с грустью и тихо улыбается. Вот разошёлся старик! А сам ведь, как дитё малое, и впрямь: куда он без неё?

Всю ночь проговорили. Молодость вспоминали и жизнь поминали. Что хорошее и лихое пережили. Просила она Елима, чтобы к дочери перебирался, не мучил себя в четырёх стенах и от одинакости не страдал. Всё слова клятвенного от него добивалась. Старик и не противился, во всём соглашался и за руку её держал. А Алёна всё одно: скажи да скажи, мне так спокойней будет.

Утром уже пошёл в сенцы воды попить, а вернулся – она уже холонуть стала.

Алёну на самом яру похоронил. Рядышком, где и себе место присмотрел. Тут, на горушке, и просторно, и речку видать, и лес шумливый, и Ставерские озёра. Рощица кедровая через седловину выглядывает. Ещё годков тридцать – сорок, и вовсе на всю ширь поднимется. Дочери и сыновьям так и сказал: «Здесь и меня положите... возле... И Лёнушка рядышком, и робят видать. А в город не поеду. Нече мне там делать. Там только и остаётся, что ложись да помирай, а тут, можа, на что и сгожусь».

Долго тогда маялся, всю зиму в избе просидел. Только тропку к Алёне на взгорочек протоптал. У неё часами сидит недвижно, хоть в пургу, хоть в морозы крепкие. А то – ткнёт бороду в грудь и плачет.

Сам чует – не жилец. Соседки уже за ним приглядывать стали. «Задичал Елим шибко, как бы от одинакости не охолоумел». А всё ж душой крепок остался старик: другие по вдовству-то, как это бывает, к бутылке тянутся, а его как отбросило.

А в один из дней привиделось ему, что рядышком его Лёна. Возле присела и стала его обо всём спрашивать. Тогда-то он и разговорился. Сердце лёгкое почувствовал. И хоть Алёна больше не являлась, а так у него и повелось: за каждое дело – со словинкой доброй, всех привечает и со всеми разговаривает, будь ты хоть живая душа, хоть дерево, хоть камень. Вернул себя, да пуще – на зависть мрачунам – на всю грудь задышал.

Вместе с Елимом две собаки живут, лошадь Белянка и кот Камыш.

Оляпка, карелка рыжая, по человеческому понятию, собака породистая. Чутьё у неё славное, верховое, и по лесному да охотничьему делу до того смышленная, что, может, ей и равных нет. Сердыш тоже понятливый, только на свой лад, ко всему с хитрецей и ленцой примеряется. Сам-то породы непонятно какой. В теле огромный, здоровущий пёс, хвост у него волчий, шерсть длинная и кудрявая, уши не топорщатся, а висят так-то, в складку. Чутьё и слух не ахти какие, зато сила могучая – хоть кого напугает. И глаза у него удивительные, сами по себе примечательные – смеющиеся, живые глаза.

К слову скажу, у Елима Сердыш – это первая собака с привычным именем. А были и Ясень, и Кряква, и Канюк, и Дудка, и Клюква. Сердыша тоже поначалу, щенка ещё, хотел то ли Шмелём, то ли Шершнем назвать – где-то там схожесть выискал... Только Сердыш зубато такое имя встретил – взрыкивал, не отзывался, всяко отворачивался, – оттого и своё теперешнее имя заполучил.

Елим и впрямь любитель имена раздавать. Лис так тех шуками называет, ежей – шиповниками... Ой да много всяких прозвищ надавал! Какую зверушку или птицу в лесу приметит,

обсмотрит её, как получится, – и готово, носи на здоровье! Без имени ты кто?! То-то. А сейчас, пожалуйста, – всё, как полагается.

Что уж говорить, доброе сердце, оно на всё по-своему смотрит, во всём радость видит.

Ещё у Елима медведица Настя есть. Однако о ней особый разговор.

Настя ещё совсем маленькая была, когда к Елиму попала. Без матери осталась, а одной и несмышленной – куда уж лесовать?! Да и от молока толком не отвыкла. Погибла бы точно. Однако обошлось, и на то история тайная случилась... Так-то обычная история, но не для человеческого разумения. Про то и Елим не знает.

Нашёл старик Настю три года назад, в первую весну, когда один остался. В тот раз он в лес отправился за черемшой. Ну и на красу ожившую посмотреть, порадоваться.

... – Слышь-ко, Ляпушка, чего деется!.. – Елим оторвал бинокль от глаз и с улыбкой посмотрел на собаку. – Наша-то сова опять загнездовала. Ишь, то же самое деревце облюбовала. Как её там наш Семён Аркадьевич кличет?.. А! Бородастая неясуть. Тожеть, придумкали имя... Рази это борода? Кака ж это борода? Ну да ладноть, им, орнитологам, виднее. Можта, первая, шибко бородастая была... Совята, гляди, трепещутся... Скока?.. Один, два... Можта, ишо есть. Да уж непременно должно быть. Ишь как крылья распластала, и не углядишь. Эхма, увидела меня, кажись, лупоглазая, – Елим опустил бинокль и спрятался за кедром.– А ближе не подойдёшь. Ну её! Такая склочница, сама знаешь! С ней свяжесся, и запросто без ушей останесся... Семен Аркадьевич, помнишь, сказывал, что у них там случай был: одному ихнему учёному всюю плешь исполосовала. А всего-то близко к дереву подошёл. Её дажесть ведмедь боится – за версту обходит. Смелости в ей!

Вдали послышался призывный лай Сердыша.

– Ну вот, взяли брехуна на свою голову, сейчас весь лес переполошит, – старик, хмурясь, положил бинокль в сумку. – Эхма, а в прошлом разе как винился! Молчать, говорил, буду, слова не пророню.

Оляпка поняла, о чём Сердыш кричит, и нетерпеливо Елима звать стала. Отбежит чуть и на хозяина оглядывается, торопит по-своему.

– Иди вот за ним, успокаивай, – ворчал Елим. – Что б ему кокорина⁹ на хвост упала! Вона куды убёг! А знамо, зазря зовёт.

И то верно, у Сердыша, хоть на какого зверя, один лай, ему бы только горлопанить. А к чему да как – в том понимания нет. Оляпка – другое дело: всё-таки охотничья собака, у неё на каждый случай да на птицу или зверушку свой позыв. Иной раз твякнет по-особенному, и Елиму понятно, кого приметила. Ладно всё выходит, по уму, но – это только если Сердыша поблизости нет... А так... Приведёт Оляпка Елима, а возле дерева уже Сердыш заливается, ярится в сплошном зарёве, на ствол налезает. Птицы уже и нет давно, слетела, само собой, куда подальше... от дурного пения-то. А Сердышу невдомёк, только знай себе оглядывается: где там хозяин, беги, дескать, скорей, я вот обнаружил...

Ну, чего уж там, Елим с Оляпкой уже привыкшие. Рыженка глянет, как на «ненормального», вздохнёт по-бабьи сумно: что с ним сделаешь, – и дальше рыскать. Елим пожурит, конечно, горлопана, а то и просто махнёт рукой. Обычное дело. Всё больше Оляпку успокаивает.

– Ты, Ляпушка, не сердчай, – в одном разе сказывал он. – Сама знаешь, какой он. Можта, у него в роду одни крикуны были, оттого и удержу не знает. Наследие его, вишь, такое. Видала, кака шея у него могутна? Вон в ней гармонь и упрятана... А можта, и пианино какое невеликое утолкано. Его ж анатомию никто не глядел. Энто ж надоть в город везти, рентгены делать... Ну, энто погоду, потом свозим... – Елим для порядка грозил кулаком притихшему Сердышу и тут же улыбался замирительно. – Ишь, винится, молчун, поджал хвост. Ладноть, ладноть, чего

⁹ Кокорина – вывороченное дерево с корнем

уж там, не охотники мы всё ж, в другом разе поглядим. Да. А глухаря поболе в последние годы стало! Сам вижу. Ты мне, вот что, мошника уж гони, а копалуху, смотри, не пугай. У ей и так беспокойна жисть, ты ещё... А! – махнул рукой Елим. – Куды тебе разобраться!

Сердыш слушает, слушает, и Елиму кажется, что тот уже вовсю головой кивает, соглашается, стало быть, заверяет: понял, дескать, в последний раз оплошал, сам не знаю, как так получилось, затмение какое, магнитны бури...

Уяснит вроде как, а на следующий раз опять на дерево напирает, до хрипоты «гармонь» рвёт.

А в этот раз Сердыш особенно надрывался – и лаёт, и хрипит, и прыгает вокруг кедрушки, всё норовит за нижние ветки ухватиться. Елим рассердился, хотел отогнать, да Оляпка странно себя повела. Тоже вокруг дерева закружилась, выглядывает что-то в ветках и лаёт призывно. Так, что ни на птицу, ни на белку, ни на какую другую зверушку не схож позыв.

Елим ближе подошёл, посмотрел вверх-то... и растерялся. Медвежонок, маленький совсем, к стволу прижался, дрожит и испуганно всё выше карабкается. Коготки, видать, слабые, а может, и силы вовсе нет – то и дело неверно ухватится, соскользнёт вниз, в страхе глянет на собак и опять вверх лезет. Сам худющий такой! Даже на медвежонка не похож, шерсть клоками, где и ободранный вовсе.

Отогнал Елим Оляпку и Сердыша. Сам, что и говорить, испугался. О медведице подумал – недалеко, известно, она от своего дитяти.

Порядком уже отошли, а старик всё удивлялся:

– Мать-то у него стара вовсе. Близко так подпустила. Знать, не почуяла нас? Ально как? Отчего не увела? Как, Ляпушка, думаешь? Чуяла медведицу?

Оляпка виновато заскулила.

– Неужто далече была? – подивился Елим. – Сбежала, что ль? Да ну? Ты уже наговоришь! Мать чтоб своё дитя бросила!

Укорил немножко Оляпку, а потом задумался.

– А можа, и впрямь мать такая. Что-то неухоженный больно. Глазёнки голодные, вполмордашки. Шкурка вся – клочками, ободранный какой... Не вылизывает, чай, мамаша своо дитяти? Али как? Сирота, что ль?

Откуда было знать Елиму, что мать того медвежонка совсем рядышком стояла. Для человеческого глаза невидимая, конечно, да и для медвежонка своего тоже, потому как из тела живикой сошла.

Браконьеры, на несчастье, в пихтаче в Карпушином логу медведицу погубили. Двое медвежат с ней было. Одного-то убойцы поймали, а другому убежать удалось. Про всё про это Елим потом узнал. Старателей тех нашёл... только вовсе их не наказали, как это и водится, потому как бумаги у них нужные нашлись. Дозволялось, вишь, по бумагам этим медведицу жизни лишить и медвежат сиротить.

Так всегда бывает: медведица-живика возле своего осиротевшего медвежонка осталась. Хоть и незримо, а рядышком держится. И Сонька Прибириха с ней. Не торопит она медведицу: известно, закон материнства, он превыше всего. Да и присоветовать чего пытается, да приободрить весёлым словом.

Она ведь всегда такая, Сонька-то. Является радостная, а подумать можно, что и пьяная вовсе. Всё у неё с шуткой да прибауткой. И такой вид на себя напустит, что без смеха и смотреть нельзя. Она, знаешь, для каждого случая надлежащий вид принимает. И тут она, как водится, медведицей подошла. Но такой, что прямо потеха. Шерстка в блёстках вся, переливается на свету. В ушах серьги массивные, на камнях-самоцветах. На лапах браслеты золотые, тоже камнями убранные. На шее бант огромный розовый повязан, и сбоку так, что один глаз закрывает и разговаривать мешает.

...Медведица живикой от тела разрешилась и оцепенела на мгновение. До последнего с убойцами билась, детей защищала, но как ей совладать – четверо их с ружьями и собак свора.

– Всё, думал, баста! – керкал один из браконьеров. – Как на меня пошла!.. Вот зверина! Когти тянет, ревет, блин! Я ей – в башку из обеих стволов, а она хоть бы что! Прёт, зараза, и прёт. Да вот, Обушок, смотри... – он ткнул пальцем в след от пули на голове мёртвой медведицы. – Мой жакан срикошетил. Крепкая штука, и не пробьёшь её.

– Не пробьёшь, не прошибёшь, – проворчал самый старый. – Я тебе что говорил? В сердце целить надо, под лопатку. Взяли тебя, дурака, майся теперь. Кабы не я – отшибла бы тебе самому дурню башку. И поделом, – осклабился во весь рот, перекатывая в губах замусоленную папиросу.

– Какой разговор, Обушок, на всю артель ставлю! Ох и зверина! – и со злостью пнул недвижимую тушу. – И шкура – твоя, заслужил. Всё по чести.

– Накой она? Ободранная, и линять начала. Желчь я себе возьму. Остальное – делите, как хотите.

Другие двое тем временем сняли с дерева плачущего медвежонка и, ругаясь, затолкали в мешок.

А медведица уже далеко была, второго своего медвежонка спасала.

Когда беда пришла, сынишка на дерево залез, а дочурка поодаль чуть была и потому сразу в лес сиганула. Собаки её отчего-то не почували. И сейчас медвежонок бежал, бежал, слыша материнский голос, который просил: не останавливайся, только не останавливайся, – и путь указывал.

Дочурка добежала до укромного места, забилась под валежник и уснула. А медведица тщательно в округе всё осмотрела и рядышком устроилась.

Сонька Прибириха не сразу пришла. Обычно она на остановку сердца является, а тут сколько уж её нет! Всё-таки прибежала, запыхалась, как будто тоже через всю тайгу неслась, торопилась без удержу.

– Завидую тебе, подруга, – с ходу выпалила она. – Избавилась от этого тела скучного. Теперь запросто человечесью жизнь прожить сможешь. Какую хошь, на выбор.

– Это ещё почему? – равнодушно отозвалась медведица.

– Ну как же... – Соня подвинула лапой бант с глаза и недоумённо уставилась на медведицу. – Закон такой. Чтоб тебе обидно не было, сама медведей стрелять будешь...

– Чео?! – медведица ажно подскочила с места, затряслась в гневе. – Кого?! Детей?! Ты что?!

– Ну ладно, ладно, – замахала лапами Соня, – успокойся, это я так... Не хочешь – не надо. Твой выбор.

Медведица хотела что-то ответить, но тут дочурка проснулась и стала звать маму.

– Пропадёт моя малышка, – заплакала медведица. – Теперь уже пропадёт.

Соня важно прошлась вокруг дерева, брякая тяжёлыми серьгами, подумала немного.

– Ладно, не реви, придумала я уже, – всё также беззаботно сказала она. – Смекаешь, зачем я здесь? Во-во. Сейчас всё уладим. – Соня важно облокотилась на пихтушку и выдала: – Надо лесовина здешнего позвать, пускай медведицу какую-нибудь пригонит. Это обязанность его. Ну и мать твоей дочке будет.

– Да нет у нас никакого лесовина, – всхлипывая, сказала медведица. – Никанора только знаю. Да он такой злобный старик! Хорошее нипошто ладить не станет. Да и какую медведицу он... Мариница рядом живёт – так она старая уже. Какая из неё мать! Ролька с пестуном ходит – тоже опасно. Другие... Не знаю я! – и вовсе разрыдалась.

– Ой, старая! Ну и что?! Ты сама потом приглядывать за ним будешь, беду отводить...

Медведица перестала плакать, недоверчиво глянула из-под влажных век.

– А, не получится! – Соня безнадежно махнула лапой и в сердцах зубами клацнула. И вдруг обмякла, словно ей на ум мыслишка мудрая прильнула. Прищурилась таинственно, поближе придвинулась, с опаской оглядываясь по сторонам.

– Тут вот чего делать надобно, – шепотом продолжала она. – Всё равно один медвежонок у людей будет. Зоопарк или цирк там ему не миновать – это уж по-всякому. Надо и второго твоего тоже к людям пристроить.

– Как?! – медведица ажно подскочила.

– Ты слушай! – Соня ещё ближе придвинулась. – Тут закон такой. У всех в неправильных условиях суть ломается. Карта меняется генетишная. А опасное это дело. Превратится ишо в невесть что и живику погубит напостоянно.

У медведицы от страха глаза побелели.

– Вот и оставят тебя, чтобы приглядывала. Ну и как родной образец... То есть я хотела сказать...

– А нельзя, чтобы дочка на воле была? – перебила медведица. – А сынишка пускай уж в... у людей.

– Охота, что ли, с одним возиться?.. Окочурится в зоопарке, и дело с концом. А тебя отправят куда подальше – в другие миры. Чтоб забылась...

– Хорошо-хорошо, – согласилась медведица. – Только кому мы малышку отдадим?

– Да хоть вот Елиму, – важно буркнула Соня. – Я слышала, хороший человек.

– Елиму? Можно... – неуверенно проговорила медведица. – Только как?

– Об этом, подружка, не беспокойся, – засмеялась Соня и опять с опаской обернулась. – Только ты там смотри не пробулькнись про меня. Говори: мол, сама придумала, своим умом дошла. А лучше ничего не говори, дурочкой прикинься: ничего не понимаю, дескать, что вы ко мне пристали...

С первого раза не удалось им медвежонок Елиму пристроить. Как раз в том самом случае, когда он подумал, что мать-медведица поблизости. Жалко, конечно, ведь ладно всё было устроено. Оляпку с Сердышом подговорили, как полагается. Как уж Сердыш старался! Как старался! На три дня после того голос потерял, порвал меха на гармонии.

А во второй раз уже ладом вышло. Опять всё Сонька Прибириха придумала. Да и попросила она, знаешь, кое-кого из неплотных подсобить по знакомству...

В одну из ночей Елиму сон привиделся. Ясный такой, какие редкостно случаются. Всё действие будто в его избушке произошло. Сидит Елим возле окошка и корзину с лозы плетёт. Давненько уж этим делом не занимался, а вот разохотилось ему в кой-то веки, да по весне – где и лозы взять? Чудно, право. И не корзину вовсе, а вроде как колыбель мастерит, уж больно по форме подходяще.

Протаскивает лозину через оплётку, и вдруг в дверь постучали. Неуверенно так-то, тихо вовсе.

– Не заперто! – откликнулся Елим.

Но никто не вошёл, только опять робко стукнули.

– Эхма, и прохвосты куда подевались? Проводили бы гостя, – Елим прошёл к двери. Глянул на крюк – и впрямь не заперто. Подивился так-то да и вовсе оторопел, когда двери отворил. Смотрит Елим: женщина на пороге стоит, и ребяёнок у неё на руках. Молодая такая и красивая. Волосы русые из-под платка выглядывают, глаза карие и заплаканные. Большие вовсе глаза, на Елима с мольбой смотрят, и словно с укором чуть. Плачет и просит, чтобы ребяёнка приютит. Странные слова говорит:

– Нет у меня теперь молока, да и согреть нечем малышку. Спаси, Елимушка, дочку мою. А я приходить буду, рядышком буду всегда...

По имени, слышь-ка, его назвала. А позади неё Сердыш и Оляпка стоят, хвостами крутят. И не лают вовсе, словно ту женщину знают хорошо. Оляпка скулит даже, будто Елиму знак подаёт и просит заодно. И дитёнок заплакал и закнхтел.

Старик взял ребёнка на руки, а женщина радостно улыбнулась и сказала:

– Настей зовут, – и пропала тотчас же, будто и не было её вовсе.

Оляпка залаяла звонко и давай кружиться, на небо гляючи. Сердыш тут же топчется и тоже вверх пялится, но молчит, словно онемел от удивления.

Тут Елим и проснулся.

– Приснится же такое! – проворчал он и на другой бок поворотился. – Чай, не молодой дитями обзаводиться. Воспитал уже своих, отнянчился.

А Оляпка всё лает и лает за окном.

– Эка! И взаправду чевой-тостряслось, – удивился старик. И тут ещё рёв какой-то странный услышал, чудной вовсе, будто хрипчатое всхлипывание.

Из избышки старик торопко вышел, глянул, а на углу, на комлях, медвежонок висит. За стреху передними лапами уцепился и ревет, дрожа от страха. Оляпка на него лает, Сердыш сипит, бухтит потеряннным голосом.

Елим опасливо оглянулся. Признал всё же того медвежонка, которого в лесу видел. А вокруг тишина редкостная, деревья в темноте чернеют и не шелохнутся даже.

– Неужто тот медвежонок? Без мамки, что ль, остался? – догадался старик.

Медвежонок не удержался и вниз сорвался. На траву плюхнулся, распластался на пузе и на лапы подняться не может. Ослабел, верно, от голода, да и от испуга обессилел. Пялит мокрые глазёнки и хнычет, уж вовсе как дитя человеческое.

Оляпка с Сердышом все пути перекрыли – куда ему бежать? Да он и сам не пытается. Елим его фуфайкой накрыл – побоялся когтей и зубов острых. А он и не рвётся, сжался в комочек и засопел, запыхтел в своротке.

– То-то. Будешь у меня знать, как в чужой дом лезть, – шутейно пригрозил старик. – А мамаша твоя придёт – ужо задам ей! Узнает у меня, как дитя одного без присмотра оставлять!

В дом медвежонка понёс, и Оляпка с Сердышом вслед запросились. Ткнулись носами в ноги и не отлипли, пока в избышке не очутились. Сели вокруг найдёныша, пасти раззявили и дивуются, как на чудо.

Елим сходил к бабе Нюре, молока спросил. Потом в молоко хлебца покрошил, каши намешал – чуть оставалось с ужина. Ну и сгоношил нехитрую похлёбку.

– Поди, и исть не станет. Пужнули сильно, – сказал старик и, хмурясь, поставил перед медвежонком миску. – Ешь давай, перекасти-поле, не слухался мамку, вот и мыкайся теперь.

А медвежонок – ничего, ткнулся носом в миску и зачавкал с аппетитом, заурчал довольнёнхонько, ажно за ушами затрещало. Всё смахнул и миску даже вылизал. Потом ещё и на зубок её попробовал, хотел, верно, тоже в брюшко отправить.

Так и зажил медвежонок у Елима. Про сон тот чудной старик забыл сразу, вспомнил только, когда имя решил дать бурчихе своей.

– Как бурчиху-то звать будем? – сидя на завалинке, спрашивал старик у собак. – Мать её не объявилась... сколь уж дней прошло! Видать, тот сон и правда вещий был, – задумался чуть и рассказал, какой сон видел. Всё в подробностях выложил. Ну и от себя добавил для украсу.

– Так мать мне и сказала, – с серьёзным видом говорил Елим. – И пушай, говорит, Оляпка с Сердышом за дочкой приглядывают. Ежели чего, с них первых спрошу...

Собаки друг на дружку с опаской глянули. Оляпка ещё и твякнула: слышал, дескать, что дедушка сказал? То-то. Смотри, мол. Сердыш огрызнулся будто: сама смотри в оба. И опять они уши напрындили и на Елима уставились.

– Ишо наказывала Настей называть, – продолжал старик. – А я вот чего кумекаю: куды ей с человеческим именем позориться? Думаю, её Малиной звать. Малину, чай, любит...

Сердыш отвернулся, в лес отчего-то глядеть стал. Оляпка и вовсе фыркнула, поднялась на лапы и пошла невесть куда.

– Э-э, куды наострилась! – окликнул её старик. – Обсуждение, чай, не закончилось. Я ить и не настаиваю. Пчелкой можно, до мёду она тожить, небось, охочая...

Оляпка уже было поворотилась, а тут опять удаляться стала.

– Ну, ладноть, ладноть, – смилился Елим. – Крестница тожить нашлась. Настей, что ль, звать будем?

Оляпка чуть через голову не кувыркнулась! Подлетела к Елиму и залилась весёлым лаем. Сердыш тоже вскочил и запрыгал радостно.

– Ну, чего, чего, непутёвые? – ворчал Елим. – Никакого понимания в вас нету. Курячья вы слепота. Ладноть, пуцай Настей будет. Обсмеют токо её все ведмедя... Из-за вас, прохвостов...

Лошадушка Белянка возмущалась поначалу, недовольство выказывала: дескать, развели медведей, задохнуться можно. Коза Кукуша бабы Нюры тоже ей вторила. А потом – ничего, пообвыкли, спокойно на Настю глядеть стали. Только всё равно сторонились и поодаль держались. Ну а Оляпка сразу к Насте привязалась. Сердыш – тоже, но не так. Он вроде защитника себя осознал. Но если надо было куском вкусным поделиться, то не всегда это у него и получалось...

Елим сразу Настю к лесу приучил, сильно не баловал. Благо и родительница её, незримая, советы в уши надувала и за воспитанием строго следила. Верховные доглядатели и вовсе мешаться не стали, как на эксперимент посмотрели. А может, у них своя задумка имелась, вовсе какая необычная намётка.

В первую зиму Елим берлогу во дворе соорудил, вроде землянки изладил. А на вторую зимовку Настя уже в лесу устроилась, как и у медведей полагается. Настя, правда, дозволила родителю спальню свою посмотреть. Так у них и повелось: Елим на зимнюю спячку Настю провожает, до берлоги доводит. Потом за тем местом всю зиму смотрит. Близко, конечно, не подходит, чтобы дочу не беспокоить, а охотников отваживает.

Словом, ладно зажили и чудно. Людям на диво и зверушкам на поглядку.

А в эту весну Настя в невестин возраст вошла. От этого и перемена в характере у неё случилась. И раньше-то, бывало, если повстречает какого-нибудь медведя, сразу гнала от себя, а тут ещё пуще отгонять стала... Вовсе глядеть на них не могла и на дух не переносила. Ну а по Суленге всё-таки не медвежье царство, всех медведей по пальцам пересчитать можно. Вот и получилось: скольким-то отпор дала, и закончились они... Перевелись, стало быть, женихи эти. Больно, говорят, надо! Ишь, цаца какая! Настя туда-сюда глянула – нет никого. Загрустила, конечно, немножко; где и поругала себя – не без этого. Хотела было в дальние леса податься, да только вдруг вовсе новый кавалер объявился (это, знаешь, медведица, мамаша невидимая, и подобрала жениха, с дальних краёв привела...) На других сроду не похожий: сам из себя рудой¹⁰ (Настя таких и не видывала), брюхо сжелта, а на груди – галстук белый. Да статный такой! Красавец, одним словом. Правда, не Настиных годов, старше намного, но так уж мамаша придумала.

Как увидела его Настя, у неё сразу сердчишко затрепыхалось. Но только сразу, конечно, посуровела... С ходу отвергать, правда, не стала, но наершилась, отмолчалась и во весь дух домой к Елиму припустилась. Решила под родительским крылом схорониться: дескать, не могу понять, что со мной происходит, – можно я пока здесь поживу?.. Спряталась в своей землянке-берлоге и давай реветь, слезами обливаться. Оляпка и Сердыш возле лаза уселись, растерялись, что и говорить, и тоже взялись подвывать да скулить жалостливо.

Елим прибежал испуганный.

¹⁰ Рудой – рыжий.

– Можя, хворь какая приключилась? – разволновался старик. – Али старатели подра-нили? Ну-ка, дочка, выходи оттедова! Гляну, чего там с тобой.

А Настя только ещё сильнее разрыдалась, а выходить – ни в какую!

Старик по следам её прошёлся, крови не приметил нигде и успокоился маленько. Пока думал, что дальше делать, и объяснилось всё. Медведь этот, рыжий (Елим его сразу Огоньком прозвал), не убоившись Елима и собак его – вот ведь как обахмурило-то¹¹! – к избушке при-косолапил. Близко, однако, не подошёл, а так, чтобы Настю высмотреть можно. Старик опе-шил от такой наглости, а собаки уж было кинулись прогонять, но тут вдруг Настя заворчала: дескать, пусть себе ходит, есть не просит...

Вот так история! Елим посмеялся, но противиться не стал. Хоть у него и разладки в делах случились. И то верно, по лесу не походишь, когда неизвестный медведь возле дома с утра до ночи выхаживает. Только заря, а он – возле избушки, хоть часы по нему сверяй. И ходит, и ходит вокруг. Голос иной раз подаст, рывкнет жалистно, а так всё молчком, молчком. А если Настя наружу выглянет, так он тотчас же на задние лапы становится. Известно, хочется ему себя во весь рост показать... Медведям трудно на вскидку долго стоять, а он – ничего, держится, и не шелохнётся даже.

Белянка с Кукушей опять в голос: развели медведей! Скоро на шею сядут! А куда денешься?

Настя то ли хитрость свою девичью являла, то ли спланировала так-то, а может, и чув-ства боялась выказать, но знакомиться не спешила вовсе. Ждала чего-то. Правда, с каждым днём всё чаще из домика своего вылезала. Покрутится, повиляет бёдрами, а Огонька будто и не замечает. Конечно, из укрытия глянет украдкой, а так, на виду, и не обернётся даже. Ну а жених-бедолага ждёт-пождёт до темноты, а потом в лес убредет понуро. Но на утро опять является.

– Ты бы уж не мучила его, – вразумлял Елим Настю. – Который день не могу Белянку с Кукушей к травке вывести. Гляди хворать начнут.

Настя виновато в землю смотрела, а тактики своей всё-таки держалась. На пятый день, правда, всё и переменялось. Огонёк утром, как всегда, вовремя пришёл, при галстукке при своём, белом. Ходил, ворчал что-то там себе под нос, на лапах стоял – словом, обычно себя вёл. Ну и Настя не сдавалась, покрутилась на поглядку маленько и скрылась в берложке. Решила, верно, подремать там, а может, и подумать в спокойствии.

Почудней устроилась на лёжке, голову на лапы положила, а сон не идёт и не идёт, и с мыслями разладка... Ну и думает: дай посмотрю на «него». Глядь, и нет Огонька... Взмет-нулась враз, как ядро пушечное из берложки вылетела. А «он» – уже у опушки, в лес удаля-ется, и не оглядывается даже. Что, дескать, зазря бедовать, самое интересное уже посмотрел... Известно, учённый стал. А до вечера времени ещё порядком – утренние часы самые и есть.

Настя напугалась, думала: не придёт больше. Всю ночь не спала, скулила жалобно. Оляпку и Сердыша прогнала в сердцах, на Елима тоже рычала. Старик даже подивился: впер-вой всё же случилось.

Зря, конечно, растревожилась: утром Огонёк на своём посту объявился. И не пустой, вишь, а с гостинцем...

Увидел его Елим с ношей и за сердце схватился.

– Ну, Настасья, – говорит, – чтоб я твоего ухажёра больше не видел. Так он мне всех зверушек изведёт.

Тот, слышь-ка, с косулей в зубах заявился. Поднялся на задние лапы, вытянулся во весь рост, стоит с ношей, надрывается – вот, дескать, принёс...

¹¹ Обахмуриться – влюбиться

Настя тут уж мешкать не стала. Сразу же к нему подбежала и... хрясть – лапёхой ему по морде. Тушка на несколько шагов отлетела, а сам жених так и бухнулся на зад. За нос держится и на невесту ошалело смотрит. Ну, Настя подошла не спеша, и лизнула ушибленный нос...

Потом долго Елим медведицу свою не видел. Она тогда с Огоньком этим как-то уж быстро в лес ушуровала. Про косулю они даже и не вспомнили, только пятки мелькнули за деревьями. На радость Сердышу и Оляпке, конечно. Они ту дичину быстренько прибрали. И к Елиму сразу – мол, давай скорей завтрак готовь. Вот этот кусок пожарь, этот отвари, а это мы и так слопаем.

Накормил, само собой, старик собак на славу. Ну и себе фаршу накрутил, котлетками побаловался. Мясо маленько на зиму насолил и тушёнки наделал. Где для себя и гостей, а которые и для Насти, без лука и приправ острых.

– Вот возвернётся Настасья и полакомится, – объяснял Елим собакам. – Для неё всё жно Огонёк старался, а не для вас, проглотов.

... Через месяц Настя вернулась... Вся такая потерянная и с грустинкой в глазах. Потрёпанная вся как есть: шёрстка нечесаная, клоками висит и ухо левое порванное чуть – где и угораздило?.. Мордаха вся опухшая. Один глаз и не открывается вовсе, заплыл разбухшими веками, а другой – всё же чуть зыркает, из-под прищура выщеливает – чистая разбойница! Обычная история с ней приключилась: мёду лесного отведала, ну и пчёлки с её внешностью позанимались... Когда с Огоньком вместе была, хоть и хотела сильно мёдом полакомиться, всё же терпела. Знала, само собой, что эти пчёлы с ней сделают... Ну а растались, и ни к чему красота стала. Вот и отвела душу да по все знакомым пчельникам прошлась.

Да и то сказать, Настя – сладкоежка такая! Любую конфетку схрумкает. Хлеб ест так-то, но без восторга какого, а покажи ей печенье или пряник – сейчас же покой потеряет. И не успокоится, пока не отберёт и на язык не положит. Когда пасечник Степан к Елиму приезжает, Настя всегда навстречу бежит. Вокруг тюляшится и пихается настырно. Дескать, я всё равно не отступлюсь, отливай из туюска медку столько-то, и всё тут. Ну – куда деваться – нацедят ей тарелку. Только так, конечно, чтобы она не видала, что ещё мёд остался. Куда там! Настя всё равно каким-то боком чуяла и потом отымала без всякого. Вот и к пчёлам на такие жертвы пошла...

Елим увидел её такой – и вовсе строгость на себя напустил.

– Хоро-оша-а-а!.. – торжественно протянул он. – Нечего сказать...

А Настя обниматься полезла, бурчит на радостях, мордаху тянет.

– Ну, куды, куды? – отмахивался старик. – Силы своей не знаешь? Поломаешь ишо. Мокрогуща-то какая... не к Степану ли за мёдом лазила?

Настя – бур-бур да бур-бур, и тёплым носом тыкается.

Прищурился старик и потянул к медведице ухо.

– Чего говоришь? Бросил тебя Огонёк энтот? Вот шельмец! Экий прохвост! Окрутил девку – и будь здоров, и поминай как звали! А ты тоже хороша! Это зайчихи любят ушами, а ты чевой-то уши развесила? Сразу было видать, что на таких надея слабая... – Елим в сердцах шлёпнул себя по коленке. Потом успокоился чуть и заключил, вздыхая: – Эхма, такая уж ваша бабья доля: в одиночестве робят растить. Ладноть, чего уж там...

Покормил Елим Настю да и посмеялся с доброго сердца:

– Знамо, тебе сейчас усиленно питаться надо... Дело такое, понесла, поди, под сердцем?..

... Долгонько, знаешь, Мираш Малешот раздумывал да прикидывал – ну и решил с Елимом зазнакомиться. На то и особое разрешение получил. Как уж он там верховных доглядателей убедил – и впрямь загадка, а вот поди ж ты!

Зарубка 4

Нечаянная встреча

Погода тихая с лёгким морозцем издалась, и с вечера снег пошёл. Ласковый такой снежок, лёгкими пёрышками с неба слетел. Всю ночь он тихо сыпал, и к утру землю ровнёхонько выбелило.

– Этот теперича не сойдёт. Крепко лёг, – говорил Елим посветлу, глядя с крыльца в лес. – Чай, Настасья седни придёт... да уж непременно придёт. Куда ещё тянуть – уже все сроки вышли.

Зима и впрямь припозднилась. Насте в зимнюю спячку ложиться, а перины белой пуховой всё нет и нет. То солнце еле теплит, а то дни напролёт хвиль-мокреть. И вот выстелило.

Только помянул Елим Настю, глядь, а вон она – бурая шерстка среди притихших березок мелькнула, и вот она уже вся показалась – Настасья.

– Ну-ка... что-то, Ляпушка, не угляжу никак... – притворился Елим. – Не наша ли гулёна приближается?

Оляпка уже понеслась Настю встречать. Закружила вокруг неё, завертела каральковым хвостишкой, вся так и сияет – как же, станет она так к чужому медведю ластиться... И скулит, и повизгивает. Елим всегда удивляется: Оляпка – собака охотничья, молчаливая, а как Настю увидит, всякие в ней голоса просыпаются, и бурчит, и фырчит, да ещё звонким лаем заливается.

Сердыш тоже подошёл, поздоровался...

А Настя словно и не рада. Идёт сонная, фыркает, бормочет недовольно, снег с лапёх стряхивает, словно кусачих муравьёв отшвыривает. «И кто эту зиму выдумал? – думала она. – Видать, никакого понимания нет».

– Ну-ка, покажись, – Елим вокруг Насти обошёл, скрестив руки на груди, полюбовался сдала.

А она и впрямь ладная. Шёрстка на ней добрая, лоснится, серебрится на свету. Рваное ухо и неприметно вовсе, густым мехом обросло. Сама полнёхонькая, круглая.

– Ох и доча у меня! Ох и доча! Хороша-а! – восхитился Елим. – Надоть нам, Настасья, ночью идти, а то, не ровен час, какой-нибудь ведмедь таку красоту увидит и всю зиму ворочатся будет и уснуть не сможет...

Настя помялась на лапах да и хынькнула: ну и пускай, дескать, ворочают. Подумаешь! Знать их не хочу! Все – предатели!

– А то ещё шатучую жисть поведёт да натворит делов? А и погибнет зазря... от любви-то... – совестил Елим.

Настя и носом не повела.

– А и ладно! – махнул рукой Елим. – Ихова дело. Пушай пропадают! А нашый от нас всё равно не уйдёт. Мы тебе, Настасья, весной такого кавалера найдём! Тебя-то, красавицу таку, и с дитём взамуж возьмут, и с двумями...

Крутулась Настя нетерпеливо на месте, точно уходит собралась.

– Эхма, что ж это я, старый! – хватился Елим. – Оконфузил девку, в краску вогнал. Ладноть, ладноть, не сердчай на старика, – и ласково погладил Настю по голове, стряхнул с уха снежинки. – Сейчас пойдём. Покажешь, в какой сторонке спаленку застелила. Буду оттедова всех охотников выгонять, в другую сторону усылать. Не сумлевайся, в спокойе почивать будешь. А лыжи у меня – вот они, давно дожидаются. Всё спрашивали: где там наша Настёна, почему не приходит?

А как Насте не прийти? На сродственников не посмотрит – и уснуть спокойно не сможет. Думала и Тальку (внучка это Елима) увидеть, а её не оказалось. «Наверно, – решила Настя, – уже в спячку легла».

На проводы Елим Сердыша взял. Оляпка тоже просилась, но старик отговорил.

– Ты уж, Ляпушка, дома оставайся, – наставлял он. – Приглядывай тут. Снегу, вишь, как набухало, с твоим росточком утопнешь ишо. Где потом искать? Вот усядется немного, тогда...

Так-то без Оляпки и в путь отправились.

По лесу идут, и у Елима сердце радуется. По сторонам любитесь и на Настю поглядывает. Вон она уже какая – взрослая да ладная, и не забывает родителя.

– Глянь-ко, доча, красота какая! Белёхонько, чистенько... до чего лес нарядный, а! А ты от такой красоты бежишь...

Настя рядышком держится, бредёт, не торопится. Слушает, что Елим рассказывает, и то и дело в глаза ему заглядывает. За годы научилась слова разные понимать.

– Эй, зверюшки-хохотушки, расчищай дорогу! Наша Настя-королева едет на берлогу! – залихватски прокричал старик.

Настя всё равно смурная, только укорчиво на родителя глянула.

А Елим знай болобонит не переставаючи, с весёлого сердца слова складывает. Ну и по сторонам не забывает поглядывать. Всё подмечает: тут лось ходуляпистый оставил тёмные провалы в снегу и клочок шерсти на коре потерял; а вон зайки осинку поваленную обглодали. Все следки разбирает ну и так смотрит – дорожку сверяет, чтобы не заплутать. Солнышка хоть и не видать – за снеговыми тучами спряталось, – а как Елиму в своём лесу заплутать? Ему каждое деревце дорогу подсказывает.

Сердыш тоже ни одного следка не пропускает, причувывает, обнюхивает старательно, окунает нос в каждую ямку – вся мордаха в снегу. А если следы и натопы в сторонку идут, не отвлекается. Как истинный сторожей, рядом держится.

– Как там, по-доброму берлогу изладила? – беспокоился Елим. – Нанесла мяконького? Надо, надо. Тебе чтоб сладко спать, а медвежонок, коли с титьки сорвётся, так чтоб не ушибся.

Кивнула Настя будто бы. Всё разговор какой-никакой.

– Родишь, как полагается, со всеми удобствами. Сама-то дурёха – большенькая, потому смотри, медвежонки у тебя махонькие появятся, с бурундука, можа чуть поболее. Тебе-то, понятно, откель знать: впервой замужем.

Медведица засопела и вопрошающе посмотрела на родителя.

– Да! – наставлял Елим. – Аккуратней будь, а то ворочаться начнёшь и помнёшь медвежонков. Да когтища, смотри, поглубже спрячь! А то как бритвы наманикюрила. Начнёшь ишо махать ими – где тут медвежонкам уберечься?! Рот не разевай без надобности... Ну, а ежели... всяко бывает... хоть жирку и прилично нацепила, а молока коли не будет, тащи сразу медвежонков домой. Выкормим, ничего, ишо тучнее тебя будут, каких свет не видывал! Папанька-то громадина какая!.. А ты у меня! Эха!

Настя опять с укором глянула, покачала головой.

– Сейчас, поди, спит Огонёк твой? А, Настён? То-то. А тебе мучайся... Думать надо и за себя и за детей. Его-то дело нехитрое: оманкрутил девку – и дрыхни себе усю зиму. И горя не знай. А тебе хлопот столько!.. Медвежонки появятся – какой тут сон. Так, дремота одна. И то... уши в разные стороны держать надо. Да глазком дитяток ощупывать, за здоровьишком смотреть. Худое что примечать... А ему – спи и спи, сны весёлые разглядывай...

До берлоги ещё далече было, когда Настя остановилась. Встала – и ни с места, и на Елима выжидающе глянула.

– Чевой-то? Никак пришли? – оглянулся по сторонам старик. – А-а! Понимаю, доча, понимаю... Не пустишь болтуна дальше? Ты ужо прости радетеля свово, никак с языком совла-

дать не могу. Да и не увидимся скоко с тобой! Ох-хо-хо! Али пожалела старика? Видишь, как мучаюсь, каждой ёлочке кланяюсь. А далее и вовсе, небось, ползком придётся?

Лес и правда тёмный да густой пошёл. Ели тесными рядками выстроились, лапами зелёными мохнатыми друг за дружку держатся, ходу вовсе не дают. То тут, то там кокорины вповалку лежат да выворотни вздымаются, а из-под снега валежины да бурелом капканами щетинятся. Только и поглядывай, как бы лыжу ни заломило.

– Доброе ты местишко выбрала, доброе, – оценил старик. – Никто не прознает. Да уж и я не пушу. Ступай уж, дочка, спи спокойно.

Погладил Елим Настю по шерстке, а она постояла ещё маленько, сонная вовсе, глаза слипаются – вот-вот уснёт, – и пошла, не торопясь, побрела в чащобник.

– Спи спокойно, дочка, – тихо повторил Елим. Долго он ещё стоял так-то, пока Сердыш не заснул. Потом говорит: – Надо бы нам, Сердышка, на речку привернуть, бобрей посмотреть. Исполосовали, чай, хвостами весь берег. Глянем, скоко их... Поздоровкаемся.

На Суленгу пришли... и вдруг на топанину косуль набрели.

– Глянь-ко, и следки свежие, – можа, недалече блуждают. Эхма, повидать бы! Посчитать, какое стадо. Сам-то, что думаешь?

А Сердыш уже деловито нос вытянул и взялся следы разбирать. То на месте кружит, то большими кругами правит.

Елим посмеялся в бороду да и говорит:

– Ты эдак будешь до утра разбирать. Знамо дело, про твоё верховое чутьё легенды ходят, по всему краю слава. Э-хе-хе, даром что рамистый, а у собаки ишо и чутьё и слух должен быть, – смеётся Елим, а сам по сторонам смотрит. – Эхма, весь берег утопанный. Сдаётся мне, следопыт, на Качиковские шиханы косульки подались.

Елим соскользнул по склону на лыжах и направился к малорослому осиннику.

– Так и есть, – старик с удовольствием огладил бороду. – Оно и к лучшему: к Михею не сунулись. Сам знаешь, какой он егерь. Все бы такие егеря, и в лесу ни одной живой души не останется. Вот ведь хоть и не хитра зверюшка, а понимает, как следоват.

Сердыш побежал вперед и зарыскал по следкам, точно сам отыскал направление.

– Ну, куда, куда?! Ишь, прыткий какой! Дай старику дух перевести, – Елим стряхнул снег с палого осокоря, присел неспешно. – Главное, чтоб малорожки из заповедника не подались. По окраишу-то, сам, небось, знаешь, завсегда широкороты (и так тоже Елим браконьеров называет) караулят, на всё кровожадный глаз целят да ружжами поигрывают. На Подкаменку вообще граница близка, сунутся к Михею – и попрощались, считай, с малорожками. А потом... чего зеваешь? Дело говорю, – и потянулся снежок слепить, пустить в раззявую пасть.

Сердыш тотчас же встрепенулся, торопливо щёлкнул зубами и заморгал виновато глазами: говори, мол, дедушка, говори, это так, оплошка вышла.

Надолго задумался старик. Хорошо, конечно, что к Михею не подались. Но тоже не дело: близко от кордона пасутся. Тут хоть и бобровый заказник, и всякая охота в нём запрещена, а как понаедет высокое началие!.. Как понавезут свои несытые, тучные тела, и по бумагам выходит – им всё можно.

«Надо бы косулек к югу пужнуть, – решил Елим, – с десятков километров хотя бы». Глянул на часы: время ещё есть, не скоро смеркаться начнёт. И усталость будто прошла.

– Ну, чевой-то разлёгся? Чай, не на солнышке. Вон уже присыпало всего. Поспешать надо, Сердышка, глянем, не глянем, а пужнём подальше. Километров на пяток, и то ладноть.

Сердыш сразу зарыскал, пошёл важно, по следкам петляя, – только успевай! Сколько-то прошли, версты три – четыре, а приметки верной, что косули-малорожки рядышком, и не увидели. Знать, те переходом шли, без остановки.

Надумал уже Елим до дому поворачивать, а тут вдруг на небо взглянул и ворона увидел – лесного крятуна. Погодя и ещё крятуны показались – с разных сторон намахивают и в одну и ту же сторону правят.

– Глянь-ко, мохнорыл, чевой-то крятуны разлетались, – взволновался старик.

Сердыш и без того насторожился, вверх и не глядит, а только подобрался весь, ушами водит.

– Слышишь чего, что ли?

Тот обернулся к хозяину на миг какой-то – дескать, тихо ты, не мешай – и дальше уши наустаурил.

– Недалече тут, а? – шёпотом допытывался Елим. – Можа, волки кого загрызли? Пиршество там у них... Глянуть бы надо. Веди уж. Разгоним, поди, волков этих...

Сердыш сторожко вперёд пробираться стал. Елим тоже осторожничает, и то ли сам с собою, то ли с Сердышом советуется:

– Эхма, можа, человек в беду попал. Всяко бывает. Крятун зазря крыла понужать не будет. Дело ясное, беду чует.

Тут вдруг снег шибче пошёл и ветром резким охолонуло. Так сильно хлестануло, что старик даже остановился от неожиданности.

Эх, кабы знал Елим, что лиходейка Путерга своих дочерей из дому выгнала, давно бы уже домой повернул. Не по нраву ей, вишь, пришлось, что снеговые тучи небо застыят, тепло под ними. Вот и давай Метлуху и Вьюгу наряжать, чтобы тучи эти вытряхнули и над животинкой поизмывались. А те и рады-прерады стараться. И то верно, у них потеха известная – в застылину живую плоть облапить и в снег зарыть. Себя и мамашу позабавить.

Хлобыстнула Вьюга Елима шершавым ледяным платьем и отступила. По маковкам елей и пихтушек валами пошла. Закружилась, завыла, ярясь в небесах. Притолкала лохматую тучу и давай из неё со всей моченьки снег трясти.

Сердыш заскулил, к ногам Елима притиснулся.

– Чевой это ты? Али домой захотел? – храбрился старик. – Не больно ты охочий до лесу. Знамо дело, родители твои всё больше на цепях сиживали, а можа, и бабка с дедом... У меня вот Камыш был, так того домой никаким кусищем не заманишь. Так бы в лесу и жил, хоть летом, хоть зимой. То зайку принесёт, то рябка. Я уж его ругал – какой! Понятно, догулялся, без разрешения-то шастать... Снёс, что осталось, дедушке Боровому (старый кедр это, недалеко от дома Елима высится, возле него старик животинку свою домашнюю хоронит). Пойдём уж... Косулек, видно, не посмотрим, а что крятуны всполошились, всё одно глянуть надо. Беда... – и сам в небо глядит, тревожится.

Сердыш и ухом не повел, и ещё теснее к Елиму прижался.

– Ладно, ладно, – согласился Елим, – вижу, уже выбираться надо. Эхма, навстречь дует... К речке опять надо, а там по берегу. Чай, дойдём.

Сердыш будто бы обрадовался и полапил обратно.

– Ишь, завеселел как! – усмехнулся старик. – Чуешь, поди? То-то нос к дому тянешь. Что говоришь-то?... Оляпка борца нам наваристого сварила? С зайчатинки-то? Или плова какого жиристого? Сам чую... То-то умница, не в пример тебе. И не наказывал же ей – сама догадалась! Да нет, они там вместе с Белянкой возле печки толкошатся. Кастрюлю туды-сюды – который раз греют, да всё в окно поглядывают, не идём ли? Ну, пошли, пошли, а то заждались ужо, измаялись. А можа, уже и съели всё...

И не договорил: Метлуха его со всего размаху по лицу хлестанула. Приклубилась, вишь, полуница, приползла, извиваясь, по снегу да со всей яростью на Елима и Сердыша накинута. И начала буйствовать да лютовать! Не успел Елим и опомниться, как оказался по пояс в сугробе. А Метлуха ещё сильнее беснуется. Стегает, как песком, вздымает косматые сполохи снега, крутится в зловещем танце, вырывая вокруг большие воронки. И ещё лише на Елима

снега набухала. Он тотчас же стыть и начал. Еле вылез из сугроба. А вокруг такая завереть, что ничегошеньки не видать. Позвал Сердыша... а его и нет нигде. На ощупь старик еле до пихтушки добрался, заслонился ею немного от Метлухи.

Куда там, спрячешься от неё!

Всё же чуть упустила старика из вида. Давай сугробы смотреть. Где какой высоконыйкий – вмиг разнесёт. До земли раскидает, пощупает своим кривым глазом и к другому бросается.

Тут и мамаша Путерга подоспела. На подмогу. Обрушилась внезапно, с хохотом, со зловещим свистом закрутила, застигала, не давая дышать. Ох и жестокая же она! Злости-то в ней, злости! Метлуху, старшенькую свою, это она полунницей заделала. Родилась-то та вовсе не горбатенькой, а вот схотелось Путерге так, клюку себе под руку – землю щупать. Подступилась лиходейка к Елиму, потирая синюшные ледяные ладони. Не по нраву ей, вишь, быстро-то погубить, всё с муками и истязаниями надобно.

Вышибла из-под ног Елима весь снег, так, что он будто в яме снеговой оказался, и давай вихрями леденить, пронизывать до костей. Метлуха рядом пристроилась и помогает всюю. Носится Вьюга поверху, мать с сестрой кличет.

Елим уже и согнуться изготовился. Только чует: лохматый бок к ноге прижался – Сердышка, знать, нашёлся. Прижались они друг к дружке и с белым светом прощаются. Однако внезапно всё и прошло...

Чует Елим, что пурга ещё лише завыла и треск по лесу совсем жуткий пошёл, а они словно в тишке оказались – ни ветерка малого, и снег не сыплет.

Отнял старик воротник от лица, глядит и глазам не верит – косуля перед ним... Так-то обычная вовсе косулька... Вот только нарядная какая-то... Шёрстка золотым огнём переливается, копытца белёхонькие, будто серебряные, а рожки словно с хрусталя деланы. На груди у неё буски с красного жемчуга (известно, любят девчонки на себя навздевать), чуть ли не до земли свисают. И вокруг рожек венец с камней-самоцветов. Всякие тут камешки – и зелёные, и синие, и красные...

Пританцовывая, косулька то в одну сторону бросится с рожками наперевес, то в другую боднёт шало. По снегу ловко так скачет, что и не проваливается. Смотрит Елим, а на том месте, где она прошлась, и следков-то нет, ни одного печатка... Разбодала чудная незнакомка вроде как всех, затем потопталась на месте и понеслась по кругу. Копытцами ударит, и из-под них пламя вырывается. Бежит, и за ней огонь стеной поднимается. Пламя высоконое, метра на два, а где и выше – а как полыхает, не слышно (и Путергу с дочерьми не слышать стало, тишина жутейшая наступила). Заплески только трепещутся. И пламя необычное такое, будто с зелена. Осина вся огнём объята, и кустарник тоже полыхает, а видно, что вреда им от того никакого.

Подивился Елим: даже жара не чует, да и снег не тает, словно не настоящий огонь, а подмена какая, обман зрения.

Елим и моргнуть не успел, как в огненном кольце очутился. Глянул он на Сердыша, а тот спокойнёхонько смотрит, точно всё так и должно быть. На задние лапы уселся и из ушей снег вытряхивает.

– Вы, дедушка, не бойтесь: огонь безопасный, – услышал Елим сзади. – Он даже холодный, вот подойдите, потрогайте.

А куда Елиму на огонь любоваться: замёрз совсем, и двинуться не может. Вдруг видит: тот самый парнишка перед ним объявился, что на озере с рысью видел. И штаны на нём те же, и рубашонка клетчатая, и – на диво – босиком также. На снежку стоит и, как и косулька, не притоп нисколь, будто веса в нём никакого.

Мираш (он это был, кто ж ещё) подбежал к Елиму – лицо у верши испуганное, переживаючи смотрит, тревожится. Махнул он рукой, и из-под снега рядом с Елимом пенёк сосновый вырос, широконыйкий такой, и спил ровный, и словно полированный. Усадил Мираш Елима на пенёк этот и спрашивает заботливо:

– Не замёрзли? Руки как? – и суетливо окинул старика взглядом. – Ну-ка, пошевелите пальцами на ногах.

Чудно это Елиму показалось: что он там сквозь унты разглядеть может? Верно, помер я, думает, чудеса такие вижу. Сам ног не чувствует, пальцы окостенели всё одно.

– Сейчас-сейчас, – успокоил Мираш. Коснулся Елима за руку, легонько вовсе дотронулся, и по колелому телу старика враз тепло пошло. Каждую частичку телесную будто жаром обдало.

Елим с опаской на вершуну покосился: странный тот какой-то. Лицо потешное, не злое, а сам всё хмурится, смурной такой, серьёзный, даже и тени улыбки нет. И в глаза не смотрит.

– Эка ты... – подивился Елим. – Чай, андел?..

– Лесовины мы, – подбежала косуля. – Самые главные в лесу. Всеми зверьями и птицами командуем.

Елим так рот и раскрыл! Косуля человечьим-то голосом...

А та распахнула большие глаза – словно шельмешки в них мелькнули – и всё представляется: мол, до самого Сиверского края хозяева, и по ту сторону Суленги, и по эту. Вдруг сорвалась на полуслове и, на Сердыша кивая, спрашивает:

– Он у вас смирный? Не кусается?

Елим и слова сказать не в силах. А косуля – голосишко у неё тоненький – сразу к Сердышу повернулась.

– Попробуй, – говорит, – только укусить. Я тебе такой намордник сделаю – никто снять не сможет. Чео уставился? Думаешь, кусать научился – так теперь всё можно? – напустилась, ажно голосок рвётся, и буски так и забрякали на шее.

Сердыш теснее прижался к Елиму, сидит и вздохнуть боится, то на косулю, то на хозяина поглядывает: чего это, дескать, она, а?

– Будет тебе, – робко вмешался Мираш.

– Ну, чео молчишь? – не унималась Юля.

– Не обученный он, – жалостливо прошептал Елим. – Только понимает...

– Не обученный... – проворчала косуля. – Как кусаться, так они первые, а спокойно поговорить, значит, не умеют... Ладно, – смилилась Юля, – вижу, что тихий. Есть, конечно, хочешь?

Сердыш опять на Елима глянул: чего это, дескать, с ней? То... а то добренькой прикидывается. А сам уловил, что про еду разговор, ну и облизнулся да голодные глаза выпучил – когда это он не хотел?..

Тут же и превратилась косуля в девицу. Не совсем, конечно... Так-то тело девичье – и фигурка стройная, и ладошки тоненькие. Шубка на ней голубенькая, не длинная, как у Снегурочки всё одно, а на ногах сапожнёшки белые. А вот головка косулькина, с рожками хрустальными, осталась. И глаза будто ещё больше стали, и реснички – гуще и длиннее.

Поправила она на себе шубку, огляделась скоренько – и хлопотать, да хозяйничать! Махнула рукой, и тотчас же ковёр объявился. Такой, что Елим и в жизни не видывал. Узоры на нём, словно цветы настоящие, на травке зелёной россыпью. И вовсе он ровнёхонько лёг – ни бугров, ни вспухлины, точно не на сугробы снежные, а на пол гладенький постелен так-то.

– Чудно... – только и сказал старик, и привстал: очень уж ему захотелось тот ковёр своими руками пощупать, узнать, из какого материала сделанный.

Только поднялся – и опомниться не успел, видит: он уже в избушке какой-то. Комнатёнка просторная, занавеси на окнах. Он возле печи стоит – вместо пенька креселко старенькое, простенькое такое: материя потёртая, на подлокотниках лоскутья рваные, полировка сшарканная. В комнате убранство не ахти какое. Стол посреди, скатёркой накрытый, а возле стены лежанка широконая. На ней шубы и шкуры старые повалены. Вроде как балаган охотни-

чий, вот только печка добротная, не мансейка какая-нибудь. Жарко она полыхает, дрова в ней потрескивают, угли пышут.

А ковра того и нет, вместо него пол дощатый. И Мираша нет, как и не было вовсе.

– Пурга до утра будет, вы уж тут переночуйте, – колоколила Юля. Сама-то она уже в платишке простом, фартуком повязанная. – Сейчас я вас покормлю... а завтра уж утречком и домой.

Смотрит Елим и дивуется, чует: ноги подкашиваются, слабость наплывать стала. Сел в кресло и уж не щипает себя: смирился... сон не сон, а ничего не поделаешь.

Убрала косулька со стола лампу керосиновую, на окно поставила. И тотчас же – скажи на милость! – на скатёрке кушанья разные объявились... Тут тебе и салаты всякие разные, и колбаса, и сало. Посередке ваза с фруктами диковинными, заморскими.

Юля по-хозяйски оглядела стол, проверила весёлым глазком, всё ли на месте, и говорит с гординкой в голосе:

– Я тут вам салатов вкусных наготовила, фруктов. Сама-то я их не ем...

Да только Елим и вовсе посяк, даже столу богатому не обрадовался. Юля вдруг и опомнилась...

– Ой, да вы, дедушка, совсем расклеились! – ахнула она и поворотилась к печке. Мгновение какое-то спиной красовалась, а обернулась – у неё уже поднос на руках, а на нём чашка большенькая, с напитком, верно, каким.

– Выпейте, дедушка, – поставила она перед Елимом чашку (на поглядку чай и есть) и ну нахваливать: – Это очень вкусный чай, с лесных трав. А уж целительный! Вижу, напуганы вы и увойкались¹² сильно. Вы, дедушка, не думайте, мы только добро делаем. Вот спасли вас... Опасаться крошечников надо, от них всё зло. А мы добрые.

– Да уж... – протянул Елим, и непонятно, согласился ли он с Юлей, или засомневался отчего-то.

Однако чашку принял, подержал её в ладонях, чуя теплоту в руках и будто раздумавшись о чём.

– Да вы пейте, пейте, – засмеялась Юля. – Думаете, зелье какое? Отрава?

– А что мне потрава, – храбрился старик. – Пожил уж своё, смерти не страшусь, – и спокохонько отхлебнул.

– Чудной вкус, – похвалил он и тут же насмелился и говорит шутя: – Скоренько у тебя, дочка, получается...

А Юлька и рада-прерада, засмеялась звонко и опять к печке повернулась.

И впрямь чудное питьё: Елим почувал, как по телу горячая кровь пошла, и всякий спуг с него сошёл. Выпил до доньшка и вовсе бодрый стал. Точно помолодел. И будто в добром доме себя увидел – так и потянуло старика на беседу.

– Слышал, – говорит, – что в лесу лешаки водятся, так это – в сказках да байках... Неужто не брэх?

– Да вы кушайте, кушайте, – уклонилась от разговора Юля. Выворотила из печного зева здоровенный чугунок – и не ясно, как это она, такая хрупкая, с ним совладала, точно пушинку его понесла и на стол поставила.

Открыла крышку, а там – жаркое пышущее. Парит духовито – так ароматно и вкусно пахнет! Юля ещё покопалась в печи и блюдо принесла. На нём утка запечённая, всякой зеленью обложена, приправами присыпана. Румяна корочка шипит, швыркает. Только, вишь, поспела...

Огладил Елим бородёжку важно – ничем его уже не удивишь, не поразишь. Насчёт хлеба только полюбопытствовал:

¹² Увойкаться – устать.

– Хлеб-то у тебя чудной, хозяйюшка. Как и пекла?

Хлеб и правда на поглядку. Полковриги на ломти порезаны, но не до конца, а так, что крепятся друг с дружкой. И каждый ломток, на удивление, из разной муки испечён. Один – белый, пшеничный хлебец, другой – ржаной, а остальные – из разных замесов, по составам и рецептам несхожие.

– Ага, – согласилась Юля, – чудной упекай¹³. И полезный очень. Я, правда, его не ем...

Сердыш давно уже вкусные запахи учуял. Кружит вокруг стола, пол хвостом подметая, и всё норовит в глаза косуле заглянуть. А ей некогда: стол со всем старанием обставляет. Сердыш возьми и заскули плаксиво.

– Подожди, и тебе положу, – отмахнулась Юля. Ушла опять в другую комнату, а вернулась – в руках у неё... миска Сердыша, такая же малированная, с цветками жёлтыми. Где и взяла – верно, выкрала из избы Елима...

Наложила из чугунок жаркое полную миску, с горкой ажно набухала. Картошки – самую малость, одни мясные кусища. Сердыш чуть язык не проглотил, когда Юля перед ним миску поставила.

– На уж, ешь. Только не кусайся больше... – и погладила его по лохматой голове.

Елим сам к столу подвинулся. Наемся, думает, напьюсь, а там уж будь что будет.

– Вы кушайте, кушайте, – ухаживала Юля. – Не полопаешь – не потопашь. А вам силы ох как нужны: до дому ещё добираться. – Сама тоже присела за стол и аккуратно есть стала.

Вовсе не так, как Сердыш. Сунул тот мордашу в миску и хрумкает, и чавкает, и хлопает языком – и где культура? А Юля в одной руке колбасы прутки зажала, в другой – вилку легонько держит. Спокойно ест и крошки не просыплет. И говорит, говорит, не умолкает. А тут и до главного дошла...

– Мы так и так бы вас спасли, – задумчиво заверила она. – Мы хорошим людям всегда помогаем. Многие и не знают даже, что лесовины их спасли. Они ведь не видят нас. А вот вы – видите... – Юля помялась чуть и дальше сказывать стала: – Дар у вас есть... очень редкий дар...

– Эхма, – старик даже испугался. – Так эта впервой со мной такое. Можя, пройдёт?

– Нет, – заверила Юля, – если дар появился, то – всё...

– Рысь на озере, слышь-ко, дочка, токо видел...

– Это я бала... Тогда-то мы и узнали... Да вы не беспокойтесь, – успокаивала Юля, видя, как Елим разволновался. – Мы вам помочь хотим. Понимаете... если кромешники узнают, что вы такой...

– Кто опеть такие?

– Ну, нечистая сила, бесы, черти, как вы, люди, их называете.

– Ну и ну, и что, их тоже видеть могу?

– То-то и оно, – грустно вздохнула Юля, – а это страшно. Можете не выдержать...

– Эхма, вот ведь напасть какая, – разволновался старик. – А чевой-то делать теперича?

Юлька-косулька вилку в сторонку отложила и ножку утиную с противня сломила. Скусывает её с разных сторон, и с аппетита чуть глаза прикрыла.

– Мы вас в беде не оставим, – не спеша пережёвывая, важно сказала она. – А такой дар не должен пропасть... С людьми нам нельзя видаться, а с вами можно...

¹³ Упекай – каравай.

Зарубка 5

Тайное крушение укладу

Уж как до дому дошли, и не спрашивай. Про то и сам Елим не скажет – известно, только лыжами подавай, в глазах туман, а в голове никакой живости...

Оморочь каждый лесовин напускать умеет; а Юля малую изладила, такую, чтобы порону человеческому организму не было, чтобы не маялся Елим в раздумьях, не сумничал, не искал отгадки попусту.

Думка уже потом подоспела, когда посреди ночи в своей избе Елим проснулся, и всякий сон пропал. «Не во снах ли мне привиделось?» – подумал старик. Да и прогнал эту мыслишку. Ясно ведь своими глазами видел, так просто не отмахнёшься. Потом и вовсе стал думать, что спятил.

Взялся Елим припоминать, отчего такое приключиться может. Вон Палениха сказывала, с Петром её тоже напасть такая случилась: глаза на ковре видел. С хмелевика маялся, а тут глядит: буркалы с настенного ковра на него таращатся. Живые вовсе глаза, то смигнут, то вправо-влево ворочают и следят, следят, не отрываясь. Ну, порубал тот ковёр топором. А то потом ещё было: увязались двое. Как сказывал Пётр, будто и не люди вовсе – худющие, шеи длинные, и лица в бородавках зелёных, глаза большущие, как тарелки, и белого в них нет, точно угли чёрные в глазницы вправлены. Никто их не видел, незнакомцев этих, один Пётр и примечал. Ну, так это спьяну наваждение, а как трезвёхонек Петро, так и нет никого. А ещё сказывал, что видел-то он их видел, а перетолковать не пришлось. Уж сколько они за Петром выхаживали, а так слова и не проронили. Уж он им и деньги предлагал, чтобы отстали, и дознавался, чего надобно и чего дожидаются, а те ни гу-гу, лишь чёрные провалы таращат.

А Елиму, вишь, какие повстречались – ещё и разговаривают. А косуля эта... К тому ж и помогли, получается, спасли... Эх, с Петром бы посудачить... да где ж его сейчас достанешь! Давнишнее было дело, нашли его за деревней в снегу замёрзшего. Сказывали, пьяный домой возвращался. Не дошёл, получается, а может, и те двое подсобили... А с Паленихой-то что зазря говорить?! Наплела, понятно, лишку про мужа – худо они жили, – а откроешься ей, и самого ославит.

Вот ведь тайна завелась!

Промаялся Елим до утра, а на зорьке ухнул в сон, точно в бездну чёрную провалился.

С тех пор странности стали происходить...

На второй день в деревню лось Окунь заявился. И раньше он в округе толкошился, а всё же впервой случилось, что так близко к избам подошёл. Приметный такой лосишка... Елим его Окунем назвал, потому как подпалины светлые на боках углядел, такие, что самые настоящие полосы. А среди окуней, известно, горбачи есть, – вот и у этого сохатого старик горбишку углядел. Тоже невидаль, у всякого лося так спина устроена.

Прельстился Окунь на сады брошенные. Повадился яблоками и ранетками лакомиться. И что странно, собак не испугался. Да и Елим сам Сердышу и Оляпке наказал, чтобы лосишку не трогали. Пускай, мол, ест на здоровье, всё равно пропадает столько! Снег разгребёшь, и вся земля усеяна, помятые, разжультканые, почерневшие. Какие и подсохли на ветках.

А тут из города опять Игнат приехал. Поохотиться... Испугался Елим за Окуня и, хоть они и не в ладах живут – всё из-за того, что Игнат в лесу злыдарит, – пошёл к тому в гости за полосатого просить.

– Ты уж, Игнатко, – мял перед ним шапку Елим, – лосишку мово не трогай. Приученный он, доверчивый.

Тот давай насмехаться:

– А какой он твой? Два уха, что ли, у него на голове или рога есть?

– Приметный он, Игнатко, полосы по бокам... узнаешь, светлые такие... Окунем прозвал...

– Окунь, блин... – скривился Игнат. Тут же нахмурился и говорит: – Не нужен мне твой лось. На волков буду капканы ставить. У Егорихи, слышал, катух¹⁴ зорили? За двоих обещали лицензию на сохатого... деньгами возьму: на кой мне лицензия?..

Видит Елим, хитрит Игнат, ну и осерчал.

– Известно, на кой... Когда это ты с лицензиями в лесу ходил!..– с досадой сказал он. – Да и не взять тебе волка капканом. На это терпение да опытность своя нужна, а тебе сразу подавай. Ну-ка, показывай свои капканы! Гляну, ладно ли слажены, подойдут али нет...

– С какой радости мне перед тобой ответ держать?! – рассердился Игнат. – Или отец родной?! За волков тоже заступаться станешь? Иди вот им про свою Окуня расскажи, а то потом опять на меня думать будешь!

– Кому ж я скажу... – хитро прищурился Елим. – Ведь нет их...

– Кого их? – не понял Игнат.

– Волков этих... Я их уже всех прогнал. На сто вёрст ни одного не осталось.

– Издеваешься, дед! – взбеленился Игнат. – Завтра тебе шкуру принесу! А если не принесу, то так уж и быть не трону твоего Окуня!

Пошутил, конечно, Елим, а ведь и верно: не стало возле деревни волков, подевались куда-то они...

Ранешно частенько досаждали, чуть ли не каждую ночь. Окружат, бывало, избушку Елима (на Кукушу и на Белянку, вишь, зарились) и полыхают своими зеленоющими глазищами. Глянет Елим в окошко и скажет: «Смотри-ка опеть светляки пожаловали. Чай, наших девок кликать будут». И то верно, соберутся серые в кружок и концерт дают. Хоровое пение называется. А если Важенка-луна в полную силу, то такую оперу исполняли, что Елим не выдерживал и ценные патроны тратил. Вот Белянка с Кукушей тоже скажут, натерпелись уж в своё время страху. Ну а сейчас притихли, не тревожат серые.

Только Елим ушёл, Игнат сразу шасть – к Паленихе. Как-никак какая-то там она ему родственница – седьмая вода на киселе. Поздороваться вроде как, а сам думает: авось что и выведаю, неужто и впрямь волков не слышать?

В двери сунулся, а Палениха тут же и давай причитать да жалиться. Мол, из дому выйти нельзя, лось шальной по дворам шастает, в окна заглядывает. Рога у него такие, что и глядеть страшно. Палениха развела руки в стороны, но мало ей показалось...

– Рук не хватит, каки рога... – поведала старушка, горестно качая головой и вздыхая тяжело. – А следы его глядела... вон с тую миску печатки. Копыта острые... Мне, хворой, ужас такой на старости лет терпеть доводится. Да ты, ежели не веришь, сам сходи, по всей деревне наследил, окаянный. Иди-ко, глянь-ко, нече над старухой смеяться.

– Не смеюсь я, – снял улыбу Игнат. – Большой, говоришь, лось? Это хорошо, хорошо... Ты лучше скажи, волки сильно... не беспокоят? – будто сочувствуя, спросил Игнат.

– Волки... – задумалась Палениха. – Да не слышать их. Ты лучше слушай, чео баушка скажет. Я вона что думаю: можа, это и не лось вовсе, а обрутень какой?.. А ты не смейся! Нече над стариками надсмеяться. Молод ишо. А я уж поглядела в своей жизни, поглядела... – старушка скукожилась вся, точно страх перед глазами встал. – И тут нечисто дело, нечисто. Собаки лося этого не трогают, и Елим к нему близко подходит... Это как?

Раньше Палениха с Елимом не то что душа в душу, а согласно жили – куда им опустевшую деревеньку делить? А тут поругались отчего-то, и после того старушка подначивать Елима стала. В любом разговоре подтычку острую про него ввернёт и куснёт при встрече.

Игнат лишь пожал плечами.

¹⁴ Катух – хлев для мелкой скотины.

– Гляжу я на Елима... – Палениха пытливо посмотрела на сродственника. – То медведей в доме держит, то лиса у него была... а тут лось... можа, того... с лешаками знается?

Хотел посмеяться Игнат, да смекнул, как выгоду извлечь. Решил поддержать баушку... да своё приплёл:

– Верно говоришь. Сам за ним странности примечаю. Мне сегодня хвалился: захочу, говорит, напушу волков, захочу – прогоню. Вот и думай после этого...

Так-то и проговорили весь вечер, потаённые странности за Елимом припоминая.

Кабы знать им, что разговор их, до единого словечка, Юля-косуля слышала... Как Игнат приехал, она сразу за ним пригляд вести стала. Невидимая и тут рядышком с Паленихой присела и все планы да намеренья вызнала.

На следующий день Игнат охотиться решил. Затемно ещё наметил выйти, чтобы Елим не приметил. Всю ночь худо спал, прикидывал, вишь, сколь в Окуне весу может быть (не поленился, слышь-ка, хоть и потемну, а сходил, на следы лосиные глянул). «Может, центнера четыре, – смекал убойца, – а то и полтонны... Да нет, поболее будет, поболее». Потом всё планировал, как мясо в город вывозить будет. Да кому сколько – с барского-то плеча... Да сколь продаст да выручит... «Надо бы бердану новую справить. Эх, снегоход бы купить...».

Утром Грома пинком поднял.

– Чего разлётся?! Сохатого брать будем, – сам хмурится, не выспался.

Гром оскалился – так они друг дружку привечают, обычное дело, – а об охоте услышал – обрадовался, гавкнул с довольства.

Игнат позавтракал на скорую руку, а Грома погнал от себя, да с ухмылкой: иди, дескать, в лесу ищи. Злит, понятно, перед охотой, распыляет.

Следы лосиные распутывать не пришлось. Все-то они в одну сторону в лес уходят. Наведывался, получается, Окунь со стороны заказника и возвращался туда же. Таковую тропу проложил, что и на санях без хлопот проехать можно. Удивился Игнат, но только тайные наумки погнал – те, что Палениха про Елима сказывала, – да и порадовался. Ещё легче, думает, сохатого возьму.

Правит Игнат по натопу, знай лыжами подаёт – легко ему идти. Сторожится, конечно, всё думает, что недалеко лось на лёжку ушёл, ну и путь короткий прикидывает.

Грома вперёд пустил. Тот уж учённый, не впервой ему сохатого скрадывать. Игнат и не печётся, знает, что Гром ему знак подаст.

Да только дорога вовсе неблизкая оказалась. В заказник не пошла, а в еловые угоры повернула. «Вот и ладно, – подумал Игнат, – ещё лучше: с егерями не встречаться». А дальше и версту, и две, и пять отмахали, а сохатого всё нет... «Недаром Палениха говорила, что старик с лешаками знается, – вдруг подумал Игнат да и ещё лише озлился: – Ну, встретишься ты мне, я из тебя нечистый дух вышибу!»

Так осерчал, что всё вокруг примечать перестал, лыжами только отмеряет привычно и кровавыми глазами ворочает. Лихо так запомывался, что чуть на Грома не налетел. Тот глянул на хозяина, осудил будто: мол, тихо ты, зря тебя на охоту взял. А сам причувывает, уши наострил, водит ими пытливо и по склону на закраек осинника смотрит. Постоял так-то и пошёл крадучись. Игнат – за ним, не дыша. И ружьё изготовил. К опушке перед просекой подкрались, глянул Игнат и оторопел враз. Лось полосатый прямо посреди просеки стоит, в открытую, и не таится даже. И словно задумался о чём. К Игнату боком так-то, будто прикинул, как лучше встать, чтобы Игнату ловчее стрелять было...

Убойца и не раздумывал, тут же ружьё к плечу притянул. Палец на курке скрючил и из-под прищура выцелил под лопатку, в самое сердце наметился.

Двинул курок... и осечка случилась.

Ругнулся Игнат, а видит: лось – ни с места, даже ухом не повёл.

– Стой, зараза, не шевелись, – шипел убойца. – Окунь, блин. Сейчас я тебя под жабры загарпую.

Чуть оторвал взгляд, глядит, а это и не лось – косуля стоит...

Тотчас же у Игната мыслишка в голове промелькнула, что очень она на ту похожа, которую осенью губил. Но не зацепилась мыслишка... Протёр Игнат глаза, словно от наваждения отмахнулся, а она всё стоит, косуля эта...

– Ну, лешаки, я вам!..– приложился решительно к ружью да громыхнул разом, да с двух стволов.

Косуля в снег и повалилась.

Не успел убойца и ружья отнять, как вдруг сверху откуда-то на него орёл-беркут свалился. Ухватился за ружьё когтистыми лапами, закрючил крепко приклад да и рванул на себя. Игнат и помыслить не успел, отшатнулся в испуге, а ружьё всё-таки удержал. Беркут ещё раз подал крыльями и со всего размаху хлобыстнул браконьера по ушам, да острым клювом по темени долбанул. Тот и разжал гребёнки, и тут прям в снег и опрокинулся. Кровь в глазах забурлукавила, и Игнат сознания лишился.

Беркут недалеко совсем отлетел. На соседней осинке присел, высококонько – не достать его. На сук ружьё повесил, а сам взялся на груди клювом пёрышки перебирать. На Игната и не смотрит вовсе, словно и не интересно ему, что там с тем случилось. Может, и бездыханный совсем – вон как повалился!

Гром – рослый выжлец¹⁵, а со страху под кокорину забрался и в снег зарылся. Прямо впервой с ним такое случилось. Очень уж злощий пёс и сторожей лютей, и волка, бывало, гнал, а уж за хозяина вступался – чужой и не подходит. Что и говорить, сам Игнат его иной раз боится. А тут трясуха-гнетуха на пса напала. И скулит он там, из-под сушины, и визгивит.

Очнулся Игнат, разлепил глаза – так их туманом и застит, проморгался чуть, глядит, а перед ним... Елим сидит (это всё, знаешь, Мираш придумал, размыслил он в старика обернуться). Протёр браконьер глаза – всё одно Елим, сурово так смотрит и головой качает. На пенёчке восседает – и вовсе непонятно, откуда этот пень взялся. Когда Игнат с этой стороны скрадывал, пенёк не было.

– Э-хе-хе, – тяжело вздохнул старик, – и чего это ты, Игнатко, несытый такой? Всё-то тебе у леса поживиться охота, всё-то на чужую жизнь зарышься.

Игнат опешить-то опешил, но скоренько себя нашёл: наглючие глаза выпятились, спесивое нутро колыхнулось, руки стали вокруг нашаривать – ружьё искать. Тут и вспомнил – наверх-то глянул, а вон оно, ружьё, на сучке болтается. А беркута уже и нет...

– Ловко у тебя получается... – сквозь зубы процедил Игнат. – Следил, значит...

– Просил я тебя, Игнатко, не трогай Окунька, – корил Елим, – а ты чего?

– Нужен он мне больно, – ослабил Игнат. – А ты кто, егерь, что ли? Пойди докажи, что я стрелял! Где твой лось?! Ну-ка, давай его сюда! Горазд ты, Елим, языком плямкать! Фахты где? А то... – и, не договоривши, так полоротый и остался... Глаза выпучил, глядит: косуля прям перед носом объявилась, будто из-под земли выскочила. Видная такая косулька, с бусками алыми на шее... А на боку у неё рана зияющая – так и кровит из-под самой лопатки, так и кровит.

Повернулась она к Елиму и говорит... человеческим голосом:

– Он мне прям в сердце попал, – будто не замечая Игната, сказала она. – Вот смотрите: навывлет пуля прошла, – повернулась другим боком – и там по шёрстке кровь струится.

– А ты говоришь: не стрелял... – горестно покачал Елим головой.

Игнат и слова сказать не может... Какой там – и пошевелиться не в силах. Только буркалами ошалело водит и губы выпятил – точь-в-точь, как у старой толстозадой медведицы

¹⁵ Выжлец – порода гончих.

Мариницы, которая сдуру позапрошлой зимой в Канилицы заявила. Видимо, тоже умишком тронулся.

Повернулась косуля к Игнату, глянула без злобы вовсе, даже с жалостью, и говорит укорчиво:

– Зачем вы так? Знаете, как больно! – и вдруг спохватилась и закричала тоненьким голошишкой: – Ой, вы же совсем замёрзли!

Игнат и впрямь дрожмя дрожит, и зубы уже дробь выстукивают. Не успел он и опомниться, глядь, а уже... в избушке (не тот это домишко, в котором Елим с Сердышом гостевали, другой вовсе...). Возле жаркой печурке сидит, шапки и тулупа на нём нет – подевались куда-то. Елим тоже уже без тёплой одежды, в кресле восседает, и словно задумался о чём. Косулька возле стола толкошится – тарелки раскладывает. Сама в платьишке коротеньком уже. Фигурка девичья – тончаявая, как тростиночка, а головка косули, и буски поверх платьица.

Комнатка чудная вовсе: ни одной двери нет, и только в одной из стен окошко невеликое. Чует Игнат: живость ногам вернулась. Ну а он – мужик-то отчаянный, потому сразу вбежки решил. Со всего маху в окно и кинулся. Стёкла разбил, раму выхлестнул, и уже сам на половину просунулся, глядь, а сбоку... медведь стоит, пузо чешет... О стену облокотился и когтями постукивает.

– Ну, куда лезешь?! – сердито рявкнул он человеческим голосом. – На мороз и без шапки?! – ну и поддел Игната мохнатой лапой легонечко.

Тот всю комнату кубарем промерил. Только очухался, а в избе народу – полна горница. За столом человек семь – восемь, да ещё двое возле разбитого окна табаком смолят. Не люди, конечно. Мираш это кромешников призвал: их это назначение – людям пагубу чинить. Не матёрые, правда, кромешники, а всё же и Шайрай, и Буторга, и Повитель здесь, Зазола, Тришка и Мерколий...

Столик тот же самый, а на нём – закуски разной, снеди – самую малость... А выпивки! Везде фигуристые бутылки стоят, и на столе, и под столом, и вон в углу три ящика. На всех бутылках этикетки красочные.

Пьянка, видимо, уже всюю идёт. Шум-гам, веселье разгульное, дым коромыслом. Все что-то орут одновременно, спорят. Двое чуть не до драки сцепились. Друг на друга злобно режут, клянут на чём свет стоит. И компания – один другого страшнее. Морды разбойничьи, чёрные и обросшие – ох и страхолюдины!

Косульки нигде не видно, а Елим на том же кресле сидит, в сторонке ото всех так-то. На коленях у него... барсук пригрелся. Будто бы обычный барсучишка... Тело кругластое, на коротких лапах, мордочка вытянутая, полосатая. Вот только у барсуков – про то все знают – хвост не хвост – привеска кудельная, а у этого барсучишки... пышный лисий хвост на задку колышется. И глаза будто заплаканные – по носу мокротуци и блестят с поволокой (к этому времени лиса Смола Аникаева выхворалась, стала с Мирашом по лесу ходить; справно службу повела, молчунья только оказалась, ну и редко всё рано нет-нет да и всплакнёт).

Барсучишка смирёхонько притих, млеет от удовольствия; как кошку его Елим гладит, за ушком щекочет. Разве что не мурлычет. Сам-то Елим смурной сидит, думу думает.

Ну, у Игната совсем голову и обнесло. По сторонам бешеными глазами озирается, ничего понять не может. Ну и пополз на четвереньках в угол. Только малость отполз, а барсучишка этот глаза приоткрыл чуть и вдруг шась – на спину ему запрыгнул. Оседлал Игната крепенько и когтишки легонько запустил...

Игнат как заорёт благим матом!

– Уберите! Уберите этого барсука! Помогите хто! – глаза закатил, и уже стоны и хрипы из груди рвутся.

Игнат всегда был надменный и злой, силой своей кичился. Над слабыми глумился, а уж зверушку губил походя – и глазом не моргнёт. А тут, вишь, завизжал поросём...

Не зря, знаешь, Смола Аникаева в барсучишку перевернулась, не зря... Узнала она его. Игнат всех барсуков в округе извёл – ни одного не оставил. Барсучий жир, понимаешь ли, в цене среди людей, вот он и промышлял, деньгу-крававницу возле сердца складывал. А лисы, известно, иногда в барсучих норах жилишко устраивают, лисят там растят. И Смола также себе домик нашла. Ну а потом Игнат её выследил да и погубил всю семью. Сама-то она спаслась тогда и всё лето к сродственникам Игната на подворье ходила, курей и утей таскала. Мстила, конечно. Вот только осенью не убереглась и на пулю убойцы наскочила.

...– Ты, мил человек, не кричи, – сказала строгая, суглобая Зазола. С Мерколием они подняли Игната и за стол усадили.

– Смотрите-ка, да это же Игнат! – воскликнул Тришка. – Не узнал, что ль?..

Игнат с опаской глянул – куда ему признать: впервой видит.

– Не-ет, – растерянно промычал он.

– Ну как же... на охоту вместе ходили...

– Отстань от него! – вмешалась Буторга и участливо на Игната глянула. – Устал, поди?

Тот и глазом не успел моргнуть – бутылка на столе подпрыгнула и подскочила к грязному, заляпанному стакану. Побрякивая о краешек, выбулькнула из себя водку и замерла в сторонке.

– Выпей! – совсем по-другому, жестоко, приказала Буторга.

Игнат всякую волю потерял, взял трясущимися руками доверху наполненный стакан, и водка, булькнув, укатилась в широко растворённый рот. Даже не покорчился Игнат – приучил себя так-то. Занюхал рукавом только, и ему вроде как спокойнее стало...

Тут ещё барсучишка на стол запрыгнул, хвостиче свой поднял и принялся им, как веером, махать, ветерком Игната охлаживая.

– Охотник, говоришь? – подвинулся к Игнату Мерколий. – Меня вот такие охотники погубили... Я ведь раньше, по-вашему, тоже егерем был. Пока у меня в лесу двое не поселилось... Грязные пьянчужки, бездомные, видать. Замусоленные, в рванье, в заплахах грубо прилатанных. У одного борода, клоками нечёсаная, голос хрипатый, грубый, а другой – и не понять то ли мужик, не то баба. По всем статьям, что мужик, а волос на лице не растёт. Голос тоже не понять какой. Одежда под стать – мужичья. Коли одеждой назвать можно – срам один. Курят оба и пьют на равных. Тот, что без бороды, даже больше случается. Вот и пойдёшь разберись! Потом, само собой, определил, что да как. Женского пола оказалась... Таки дела, ну да что только в мире не деется! (Мерколий всегда много говорит, слова его особенную силу имеют, завораживают и отупляют...).

Шалаш у меня в лесу поставили и всё барсука караулили. Так мне они опостытели, что хуже погубили. Прогнал я их – а меня в кромешники... – Мерколий помрачнел, будто горестное вспомнил, а потом и говорит, легонько тронув Игната за плечо: – Так ты передавай им привет, передавай...

– Где ж я их увижу?.. – жалостливо прошелестел Игнат.

– А там и увидишь... в клинике-то... для умалишённых...

– Не пугай его! – вступился Повитель. – Правильно он жил! – и к Игнату повернулся: – Наградить тебя хочу. Но только сперва удачу твою спытаем.

Вдруг на одной из стен дверь объявилась. Вовсе она несуразно глянулась, не к месту, да и только...

Избушка уж больно ветхая, на бок покосилась – гляди завалится. Матица¹⁶ пополам треснула и прогнулась. Стены в трещинах, разломах, грибок подъедены. Где пакля, где солома из щелей торчат, а где и снег с улицы лезет. И вот в стене почерневшей дверь золочённая обозначилась... Ровнёхонько стоит и аркой потолочину подпирает. Косяк из чистого золота, и по всей окантовке весёлая галечка – каменья-самоцветы вкраплены. И изумруды, и рубины, бирюза

¹⁶ Матица – главная потолочная балка поперёк всей избы

есть, сапфиры, жёлтенькие тоже камни, других цветов. Сама дверь с резного красного дерева. Узоры на ней по краям – лепесточки, кружева, завитушки, и тоже с камешками. А посередке золотой ободок, и в нём какие-то буквы-знаки. Вовсе непонятная надпись, на неведомом языке.

Протянул Повитель свои шестипалые руки – в каждой горсте у него песок насыпан. В левой – красный, а в правой – обычный, жёлтенький песочек.

– В песке, – говорит, – ключ спрятан. Угадаешь, в какой руке, – твоё счастье. Только через эту дверь выйти можно...

Игнат и ткнул в левую руку.

Усмехнулся Повитель и ссыпал песчинки на пол, а на ладони ключик остался.

– Повезло тебе, – сказал он и тут же прибавил: – А может, и нет...

Тихо вокруг стало.

– Иди, – Повитель протянул ключ.

Схватил его Игнат и к двери кинулся.

– Погодь, – вдруг окликнул его Шайрай. – Замёрзнешь так... – и вильчуру¹⁷ вдогонку бросил. Да так ловко, что шуба прям на плечи Игнату накинута, объяла его всего, рукава на руки налезли. Тот не помня себя ткнул ключом в замочную скважину. Только коснулся, дверь и отворилась.

...Игнат в дом для умалишённых попал. Нашли его в Канилицах. Всякую дичь нёс и выл по-волчьи, да на людей кидался.

Горестно, конечно, всё для Игната случилось, а могло и обойтись. И оттого, знаешь, что за шкурку свою испугался. Молитву, правда, кой-какую вспомнил (бывали случаи, молитва и откатить последнюю спасала), вот только не помогло это ему. Сызмальства, вишь, «умный» рос и кичливый, всё на силу свою надеялся. Худо в том, может, и нет, если бы в добро силу направил, а он вовсе по-другому размыслил, да ещё над добрыми людьми посмехотничал. Оно и вон как...

Мираш поначалу побаивался, что с него за Игната спросят. Однако всё ладно прошло. Да и то сказать, как будто Мираш его ума лишил. Чуть, конечно, что и говорить. Давно у Игната разумения не стало, и души тоже...

* * *

На Святки в Забродки мальханка Агафья пожаловала. Вроде как погостевать и «соседок» проведать, о том о сём посудачить. Здесь-то она родилась и до замужества сживала. Потом ещё годков десять жила, пока леспромхоз был... ну да ладно, не о том речь. Стосковалась, значит, соскучилась, а у самой на уме вовсе другое. В Канилицах, вишь, всякие кривотолки пошли про Елима, вовсе несурзное сказывать стали, да Агафья и сама снимала спуг с Игната, и других охотников выхаживала, – наслушалась уж... Вот и решила она разведать, что да как, наметилась «всюю подноготицу» вызнать. Да и то сказать, в характере это у неё: проискливая и крючкоглазая, до всего ей дело есть.

Раньше, если кто в Забродки приезжал, всей деревней собирались гостей привечать. У Меланьи Паленихи обычно сживали. Ну и Елим, само собой, приходил. Всегда он гостям рад. А тут не оказалось его. Он как раз к егерям на побывку отправился – на Главный кордон к Фёдору Иватову и на Гилеву заимку к Михеичу. И не в понятии у него перед соседками отчитываться – куда пошёл да пошто надумал. Собрался так-то, запряг Белянку, кое-какой гостинец в пошевни¹⁸

¹⁷ Вильчура – шуба из волчьих шкур

¹⁸ Пошевни – сани

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.